

НАТАЛИЯ
БЕНАР



КОРАБЛЬ
ОТПЛЫВАЮЩИЙ

стихи и проза

БИБЛИОТЕКА АВАНГАРДА

XLIV



Salamandra P.V.V.

Бенар Н. В. Корабль отплывающий: Стихи и проза

Сост., подг. текстов, предисл. и коммент. С. Шаргородского. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2022. — 144 с., илл. — (Библиотека авангарда. Вып. XLIV).

В книге впервые собрано творческое наследие Наталии Бенар (1902-1984), одной из заметных поэтесс 1920-х гг. Это — единственная поэтическая книга Бенар «Корабль отплывающий» (1922), стихотворения из коллективных сборников и шпионско-приключенческая повесть «Черный паук» (1925), написанная в духе «красного Пинкертона».

© Author, estate, 2022

© S. Shargorodsky, состав, подг. текста, предисл., коммент., 2022

© Salamandra P.V.V., оформление, 2022



ПРЕДИСЛОВИЕ

ГАМЕНОВСКИЙ ОЧЕРК ГОЛОВКИ ГАВРОША: НАТАЛИЯ БЕНАР

В одном Наталии Бенар безусловно повезло: она была если не красива, то бесспорно хороша собой. Сложись все иначе, и ее, уверен, едва ли запомнили бы и выделили из стайки молодых московских поэтесс первой половины 1920-х годов Валерий Брюсов и Марина Цветаева, будущий зондерфюрер вермахта Евгений Кумминг и будущий знаменитый прозаик Вениамин Каверин — тогда еще начинающий поэт Веня Зильбер.

«Наташа была рыженькая, тоненькая, быстрая и самая хорошенькая среди молодых поэтесс. Мы все были влюблены в нее», — вспоминает последний¹.

Влюбленный Кумминг посвящал ей стихи («фамилия Бэнар хорошо рифмовалась») и на конкурсе буриме под председательством Брюсова, который Каверин относит в воспоминаниях к 1919 г., не получил приза «только потому, что не удержался и срифмовал “метр Фрагонар” с Наташей Бэнар».

Зильбер издевался над товарищем по поэтическому цеху:

Я процитировал его стихотворение, посвященное Наташе Бэнар:

Пленительный метр Фрагонар
Мечтал ли об огненной деве?

Стихотворение кончалось риторическим вопросом:

А знаешь ли? Ведь я ослеп в аду.

— А собственно, кто тебя заставляет жить в этом аду? Махнул бы к родителям! Где они у тебя? В Берлине, в Париже? Интересно, знаю ли они, что ты служишь в угрозыске и ловишь мешочников на вокзалах?²

¹ Каверин В. Освещенные окна: Трилогия. М., 1978. С. 284-285.

² Каверин В. Там же, с. 296. В воспоминаниях Каверина Куммингу отведено немало страниц. Видимо, ни Каверин, ни советские цензоры не имели понятия о карьере Е. Л. Кумминга (1899-1980) после эмиграции в Германию в 1921 г. В Берлине Кумминг публиковался в газ. *Руль*, был хорошо известен в литературных кругах, с 1933 г. редактировал пронацистскую газ. *Новое слово*. С 1940 г. преподавал русский на курсах военных переводчиков, в 1941 г. в звании зондерфюрера вермахта совершил поездку на оккупированные территории СССР и выдвинул рекомендации по улучшению опознания евреев. В конце апреля 1945 г. участвовал в мюнхенском антинацистском восстании, после войны выступал с инициативами журналистских расследований нацистских преступлений. В 1950-е гг. сотрудничал с журналами *Свобода* и *Der Antikommunist*, работал на радио «Освобождение».

На московской литературной сцене Бена́р очутилась достаточно юной девушкой — ей не было еще двадцати. В био-библиографическом словаре *Писатели современной эпохи* под редакцией Б. П. Козьмина о нашей героине сказано:

Бэнар, Наталия Владимировна, поэтесса, родилась 22-го сентября 1902 г. в Финляндии (Кэрмэ-Калмо) в интел. семье. Получила среднее образование. Пишет стихи с 16-ти лет. В 1919 г. вступила в «Лит. Особняк», а с 1920 года в В. С. П. Первое стих. напечатано в сборн. В. С. П. «СОПО» I-й сборник (М. 1920)³.

Не совсем ясно, как увязывается с этими сведениями упомянутая первая публикация Бена́р — стихотворение «Когда ж опять пески и камни...», где говорится о юношеском пребывании в «Азербейджане». Не знаем мы и того, как и почему Бена́р оказалась в Москве; по ее стихам можно с некоторой долей вероятности заключить, что жила она с матерью. Подобных лакун в ее биографии настолько много, что вся эта биография оборачивается почти непрерывным прочерком.

Во всяком случае, мы видим Бена́р в поэтическом обществе «Зеленая мастерская» и неоклассическом «Литературном особняке». В январе и августе 1920 г. она выступает с чтением стихов на вечерах «Литературного особняка». В начале декабря Бена́р добилась заметного успеха на поэтическом конкурсе в Политехническом музее под председательством все того же В. Брюсова — ей была присуждена третья премия в размере 20000 руб.

Возможно, именно тогда ее и заметил Брюсов, посвятивший Бена́р акростих:

Нити ль нездешние,
Алым повитые,
Трепетно реют?
Арки ли вешние,
Шири открытые,
Еле светлеют?
Бедные стражники!
Это вдали
Неба избранники,

³ Писатели современной эпохи: Био-библиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1. Ред. Б. П. Козьмина. М., 1928. Цит. по переизд.: М., 1992. С. 63-64. Здесь, как и в случае Каверина и Брюсова (см. ниже), мы встречаем написание фамилии «Бэнар», хотя поэтесса подписывала свои стихи «Бена́р». Первый сб. «СОПО» вышел летом 1921 г. («четвертый год новой эры», как указано на обл.).

Ангелов данники
Радость внесли!⁴

Буквально несколько дней спустя, 11 декабря, Бена́р выступила там же, в Политехническом музее, на «Вечере поэтесс», блистательно описанном М. Цветаевой:

Из зрительных впечатлений <...> уцелел еще гаменовский очерк поэтессы Бена́р — головка Гавроша на вольном стволе шеи... <...> Стихи Бена́р, помню, показались мне ультрасовременными, с злободневной дешевкой: мир — мы, мгла — глаз, туч — стучу, рифмовкой искусственной, зрительной, ничего не дающей слуху и звучащей только у (впервые ее введшей) Ахматовой — у которой все звучит. Темы и сравнения из мира железобетонного, остро́та звуков без остро́ты смыслов, не думаю, чтобы ценные — уж очень современные! — стихи. Бена́р, кивком откланявшись, устранилась⁵.

Еще одно, на сей раз дневниковое, свидетельство принадлежит восхищавшемуся Бена́р поэту Т. Мачтету:

20 июня [1921 г.], Москва

Вчера Союз устроил целый вечер ветеранов Союза поэтов. Читают Бена́р, Н. П. <Кугушева>, Федоров, Минский, Ройзман и Арго. <...>

Вчера же, между прочим, снова слушал Бена́р. Какие хорошие стихи, сколько музыки, молодости, юности, простоты и искренности. Она читала в обществе ветеранов Союза, облокотясь на решетку эстрады, даже не привстав, небрежно пригнувшись к ней, вся уйдя в свою синюю жакетку и изящную шляпку. Она сама, милая, изящная, тонкая, богемно-веселая, казалась яркой и хорошей⁶.

В «Литературном особняке» Бена́р продержалась до декабря 1922 г., когда была исключена из этого объединения вместе с группой более чем 20 литера-

⁴ РГАЛИ. Ф. 56, оп. 1, ед. хр. 34. При разборе архива поэта его вдова И. М. Брюсова отнесла это не публиковавшееся при жизни Брюсова стихотворение к 1920 г. См. Молодяков В. Неизвестные поэты. Кн. вторая. СПб., 1996. С. 93.

⁵ Цветаева М. Герой труда: (Записи о Валерии Брюсове) // Цветаева М. Собрание сочинений в семи томах. Т. 4: Воспоминания о современниках. Дневниковая проза. М., 1994. С. 40, 45.

⁶ «Так жили поэты»: (Шершеневич и мир литературной Москвы в дневнике Тараса Мачтета) // Дроздов В. А. Dum spiro spero. О Вадиме Шершеневиче, и не только: Статьи. Разыскания. Публикации. М., 2014. С. 731.



Наталья Бенар

торов. В первом сборнике «СОПО» (1921) и на «Вечере-демонстрации поэтических школ и направлений» (Политехнический музей, 17 октября 1921 г.) она именовала себя «эклектиком».

В марте 1922 г. в издательстве А. М. Кожебаткина «Альциона» вышел в свет первый и единственный поэтический сборник Бенар *Корабль отплывающий*. Критика не пощадила молодую поэтессу. «Трогательно-плохими» объявил ее стихи Г. Шенгели:

Однообразие мотивов: любовь, да разлука, да тоска.... — свидетельствует о действительном надломе в душе поэта. Но выражение всего этого — вполне бесполезно... Скучный стих, претендующий на то, чтобы быть «свободным», на самом же деле сводимый к нескольким однообразным перебоям... Совершенно пустые и бессодержательные образы, вдобавок дурного тона...⁷

Анонимный рецензент из второго выпуска альманаха *Утренники* и вовсе отказал Бенар в праве на поэтическое существование: «Много всякой нелепости выходит сейчас из под печатного станка, но все “творения”, созданные Н. Бенар — редки. Непонятно даже — почему их считает автор стихами — ни ритма, ни рифмы, ни красочности — ничего в них не найти»⁸.

С. Бобров и В. Брюсов сочли сочинения Бенар дурным подражанием неофутуризму и в особенности Б. Пастернаку.

Молодые ученики футуристов, — писал Бобров. — Две поэтессы. А. Владимирова и Н. Бенар. Обе не лишены некоторых, хоть и очень скромных дарований. У Владимировой явно сильное влияние Гуро и Асеева, воспринятых иной раз и не так плохо. В общем же обычные дамские разговоры на тему «какая я хорошая», чем вся теперешняя женская лирика наполнена. У Бенар поострее, но все прикрыто самым невинным переписыванием Пастернака. Причем ее Пастернак — причесанный, приглаженный, напомаженный — вульгаризованный и акмеизованный и беспокойно вспоминается: многие авторессы начинают книгами, где слышен подлинный трепет (сравните хоть Радлову), но все это зачастую оказывается жаром «тех дней, когда им были новы все впечатления бытия», а потом разлагается в невозможную кислоту. Положим, через пропасть после первой книги прошли и Белый и Блок, но у них это так не захиревало. На грустные наводит мысли и превалирующий у обеих поэтесс беденький эготизм, «я» — и его жал-

⁷ Г. Ш. [Шенгели Г.]. [Рецензия] // Экран. 1922. № 32. С. 157. Цит. по: Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Т. 1. Ч. 2: Москва и Петроград. 1921-1922 гг. М., 2005. С. 350.

⁸ Утренники. Кн. II. Пб., 1922. С. 157.

кие интересы. На Бенар, пожалуй, все же, быть может, и возможно некоторые надежды возлагать, — очень скромные⁹.

Однако Брюсов, после предсказуемого «разноса» технической стороны сочинений Бенар, счел нужным веско высказаться в поддержку поэтессы: «Стихи Н. Бенар все же — серьезные попытки что-то сделать, что-то выразить; они связаны с общей работой современной поэзии над новыми приемами выразительности»¹⁰.

Нашелся у Бенар и неожиданный сторонник в лице А. Крученых, радостно обнаружившего у поэтессы «сдвигорифмы»:

Составных рифм (вернее сказать — сдвиговых) бесконечное множество у всех современных поэтов: у Маяковского и Хлебникова, у Брюсова и Белого, Ахматовой и Блока, и наконец у большинства молодых поэтов.

Возьмем, напр., поэтессу Н. Бенар, только в этом году выпустившую книгу: «Корабль отплывающий». Вот какие у нее (и типичные для всей теперешней поэтической молодежи) рифмы:

Недели вышли навстречу
Похоронными клячами в перьях
Вьюг. От этой встречи
Не отчураюсь **теперь я**.

Нам закаты в окно напророчили
О зиме, всех зим печальней.
Голосами осипшими ночи,
На углах о разлуке **кричали нам**.

И в других стихах: тепло еще — площади, знака ли — плакали, обрыв кинув — обрывки.

Составные рифмы дают неожиданно для автора ряд неологизмов: **теперья** (мн. число от **теперь?**), **тепло еще** (увелич. степ. от **тепло?** сравни — **по-боище**)¹¹.

⁹ Э. П. Бик [Бобров С.]. Литературные края // Красная новь. 1922. № 2. С. 353.

¹⁰ Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1922. Кн. 2. С. 148. Полный текст отзыва Брюсова см. в приложении.

¹¹ Крученых А. Сдвигология русского стиха: Трактат обиженный (Трактат обиженный и поучальный) М., 1922. С. 13. В архиве А. Крученых (РГАЛИ) имеется ряд фотографических карточек Бенар с пояснительными надписями (Ф.1334, оп.1, ед. хр.1358).

Памятуя о лестном, как-никак, отзыве Брюсова, Бенар пыталась бодриться, однако тот надлом, о котором проникательно писал Шенгели, видимо, уже произошел. Бодрость, по свидетельству Мачтета, придавал поэтессе алкоголь:

22 июля [1922 г.]. Москва.

Н. Бенар зашла на академический вечер Союза в Дом Герцена в субботу, и мы весело дружески поздоровались.

— Читал ваши стихи, критику и возмущался, — искренне признаюсь я, — особенно же недоволен критикой в «Экране». Брюсов, по-моему, вас признал, — спешу я поддержать подружку.

Однако нападки на нее не действуют, как и следовало ожидать.

— Не обращаю на них внимания, — отшучивается поэтесса.

— Тем более, что в личном разговоре со мной Брюсов очень похвалил мою книжку.

— Жаль, что вы не напечатали самого своего лучшего стихотворения «Потеряла где-то крест нательный...», с ним бы не так на вас нападали <...>.

Я стоял к ней вплотную и, разговаривая с подругой, явственно ощущал запах вина, терпкий, тяжелый, волнующий, пропитавший всю ее небольшую фигурку в белом платье и широкополой шляпке. Видимо, она хочет горести, связанные с выходом книжки, топить в разгуле. Что же, это ее дело¹².

В воспоминаниях современниц мы находим следы этого «разгула» Бенар; сквозит в них и женская ревность, и зависть к более успешной соратнице. Так, Н. Вольпин мимоходом замечает, сравнивая поэтессу с древнегреческой гетерой: «Кружит головы молодежи доморощенная Аспасия — поэтесса Наталья Бенар»¹³. В пристрастных и далеко не всегда отличающихся точностью мемуарах О. Мочаловой Бенар предстает безнадежной алкоголичкой и одновременно чуть ли не *femme fatale*:

Наталья Бенар. Миловидная, небольшая девушка, тихая, скромная на вид, с великолепным знанием французского языка. Она ни к какой группе не принадлежала и никаких выходок за ней не числилось. Помню ее строку:

«Юность коптит у печки...»

Выходила книга ее стихов, довольно объемная, где она говорила о своей темной звезде. Брюсов рецензировал книгу Бенар и определил ее как «серьез-

¹² «Так жили поэты»... Там же. С.

¹³ Вольпин Н. Свидание с другом // Перспектива – 89. Советская литература сегодня: Сборник статей. М., 1989. С. 439.

ные поиски дебютантки». Отчего так случилось, что эта «застенчивая» Наташа стала добычей каждого, спилась, заболела, превратилась в героиню трагических скандалов, в конце концов была выслана и погибла в состоянии полного разложения? В кафе ходил некий восточный человек и откровенничал, что не выносит больше такую «женщину с надрывом». Наталья Бенар многим испортила жизнь¹⁴.

О похождениях Бенар рассказывал и С. Бобров, чьи слова приводит М. Гаспаров:

Наталья Бенар (та, которая, когда умер Блок и все поэтессы писали грустные стихи, как у них был роман с Блоком, одна писала грустные стихи, как у нее не было романа с Блоком), — Наталья Бенар носила огромные шестиугольные очки — чтобы скрыть шрамы: какой-то любовник разбил об нее бутылку. («Спилась от застенчивости», — прочитал я потом о ней у О. Мочаловой)¹⁵.

В конце 1922 г. стихотворение Н. Бенар появилось в экспрессионистском *Московском Парнасе*. Ее последней известной нам поэтической публикацией стали три стихотворения в альманахе *Эпоха* (1923). В том же году у Бенар завязался роман с поэтом-авангардистом, драматургом и театральным деятелем И. Терентьевым¹⁶.

В 1925 г. Бенар напечатала в №№ 8-12 ежемесячного авиатехнического журнала Общества друзей воздушного флота *Самолет* заливчатскую шпионско-приключенческую повесть «Черный паук». Эта повесть с авиационным уклоном была явно написана гонорара ради и, не исключено, по заказу заведующего редакцией (с середины 1925 г. — заместителя редактора) журнала Н. Шпанова, большого энтузиаста авиации и любителя конспирологических сюжетов. Текст был выдержан в лучших традициях литературы «красного Пинкертона»: картонные фигуры советских авиаторов без страха и упрека, трусливый интеллигентшишка, роковая соблазнительница, польская шпионка-диверсантка по прозвищу «Черный паук» и собственно черные пауки, яды, по-

¹⁴ Мочалова О. Голоса Серебряного века: Поэт о поэтах. М., 2004. С. 161. Выше мемуаристка отмечает, что в Бенар был влюблен С. Буданцев, хваливший ее стихи с эстрады. Цитируемая строка вымышлена, у Бенар: «Молодость копчу у черных труб» («Маме»).

¹⁵ Гаспаров М. Записи и выписки. М., 2001. С. 388. По мнению О. Лекманова, в ряде стихотворений из кн. *Корабль отплывающий* Бенар конструирует «безусловно, воображаемый» роман с Блоком (Лекманов О. Блоковский след в поэтических книгах 1922 года: Новые материалы и соображения // Блоковский сборник XIX. Александр Блок и русская литература Серебряного века. Тарту, 2015. С. 120-121).

¹⁶ Следственное дело Игоря Терентьева (1931). Публ. С. В. Кудрявцева. Вступ. статья и прим. Н. А. Богомолова и С. В. Кудрявцева // Минувшее: Исторический альманах. [Вып.] 18. М.-СПб., 1995. С. 583.

жары и авиакатастрофы — эдакий черно-красный винегрет под заправкой из часто свойственной специфическому поджанру «Краспик»¹⁷ автоиронии.

Дальнейшая жизнь Н. Бенар — сплошное зияние. В 1929-30 гг., согласно указанной выше публикации следственного дела И. Терентьева, Бенар после отказа сотрудничать с ОГПУ была выслана в Днепропетровск. В 1931 г. она проходила по делу Терентьева, в то время режиссера Днепропетровского Рабочего театра, арестованного 24 января 1931 г. В показаниях Терентьев неоднократно останавливался на своих отношениях с Бенар:

Знала об этих моих намерениях [образовать в Москве из антисоветски настроенных работников искусства к/рев. организацию] молодая поэтесса Наталия Бенар, которая участвовать в моей антисоветской работе не согласилась, но обещала никому не говорить о ней.

<...> поэтессой Наталией Бенар, с которой я познакомился летом 1923 года в Москве и сошелся с нею как с любовницей. Бенар я сказал о своих намерениях создать антисоветскую организацию из работников искусства, предлагал ей помогать мне в этом, знакомя меня со своими многочисленными друзьями из литературного круга. В ответ на мои подробные рассказы о Константинополе, о том, что я сын жандармского полковника (этими рассказами я хотел вызвать в Бенар доверие ко мне как к организатору), Бенар ответила мне, что в организацию такого рода она мало верит, но знакомить меня со своими друзьями согласна, причем дает мне обещание никому никогда не говорить о том, что ей известно о моих контрреволюционных намерениях.

В тот период я познакомился через одну женщину, известной [так! — *Публ.*] в то время в литературной богеме под кличкой «Мамка», с Бенар Натальей Владимировной — московской поэтессой. Она жила на квартире у журналиста Перелешина¹⁸. <...> Примкнуть к организации Бенар отказалась, однако согласилась знакомить меня с людьми, которых я ей буду указывать. Помощь, кот[орую] я надеялся получить от Бенар, я в полной мере не получал. Об этом я ей давал понять переменах в моем личном отношении к ней и в результате мы с ней расстались¹⁹. Она успела фактически ввести меня в со-

¹⁷ «Краспик» — ранний окказиональный псевдоним Н. Н. Шпанова, расшифровывающийся как «красный Пинкертон».

¹⁸ Возможно, это поэт-фуист, прозаик и журналист Б. Н. Перелешин (1896 – ок. 1938).

¹⁹ В 1916-1922 гг. Терентьев жил в Тифлисе, затем ездил в Константинополь; не его ли описывала в мемуарах О. Мочалова под видом «восточного человека», жаловавшегося на Бенар в кафе?

ответствующий моим к.-р. намерениям, но недостаточный для создания организации круг лиц²⁰.

Далее публикаторы сообщают:

В обвинительном заключении по делу Терентьева говорится: «Привлеченная нами к следствию в качестве обвиняемой БЕНАР Н. В. подтвердила показания ТЕРЕНТЬЕВА...» Дело в отношении Бенар было выделено в отдельное производство, однако, судя по ее позднейшим рассказам, содержание которых сообщено нам П. П. Яценковым, закончилось благополучно: вскоре ей было, по ходатайству Г. М. Кржижановского, разрешено вернуться в Москву (вновь прописана в Москве она была с 1935)²¹.

Со ссылкой на П. П. Яценкова здесь же приведена дата смерти Наталии Бенар — 3 апреля 1984 г.

²⁰ Следственное дело Игоря Терентьева. Там же, с. 550, 583, 589.

²¹ Там же, с. 555.

КОРАБЛЬ ОТПЛЫВАЮЩИЙ

[1922]

НАТАЛИЯ БЕНАР

КОРАБЛЬ



ОТПЛЫВАЮЩИЙ

«АЛЬЦИОНА»



МАМЕ

Пока со мной ты, милая, тепло еще,
Нежны ладони, черные от труб.
А за пустым углом, на Красной площади,
Московский снег дымится на ветру.

Скрипит январь. Метель звенит и колется,
По площадям разносит гарь и тьму.
Торжественная жизнь проходит за околицей,
А рядом — тишины взволнованная муть,

А рядом — писк мышиный не стихает,
И мамин голос нежен поутру.
Пою, люблю, безмолвствую стихами,
И молодость копчу у черных труб.

Январь. 1921.

Недели вышли навстречу
Похоронными клячами в перьях
Вьюг. От этой встречи
Не отчураюсь теперь я.

Нам закаты в окно напроносили
О зиме, всех зим печальней.
Голосами осипшими ночи,
На углах о разлуке кричали нам,

И метели, отчаянья вестники,
На недобрые сны и на муки,
Баюкали на ночь песенкой,
Об ушедшем в поход Мальбруке.

И Василья Блаженного главы
Колокольной октавой и квинтой
Рассказали о самом главном,
О глазах тобою покинутой.

Почему не расстались сразу мы,
Когда сердце кололось на двое?
А теперь этой нежности спазму
Охранять и беречь надо ведь.

Эта нежность на жизни заплатой,
И зубами теперь не сдерешь ее!
И откуда явилась, проклятая,
Чтоб засыпать наш путь порошею?

Навстречу мартовской мечте ль,
Как почка, сердце распухает,
И бьется и звенит метель
Фарфоровыми лопухами.

По площадям пустым гонись,
До белой крови исхлестав их!
Над бредом зимних агоний
Повисни гневной эпитафьей.

Звени, звени о неба жесть!
Тянись, беспутная, к Никола дню,
Вздымайся и дымись. Уже
Стеклянней мартовские полдни.

Тоской и морем пахнет снег,
Царапается солнце в окна,
И по утрам, уже к весне,
Течет из форточек тепло к нам.

И в синеве любимых глаз,
Зрачки, как почки, распухают,
Звени, метель, в последний раз
Фарфоровыми лопухами.

Февраль. 1921.

Не одна над набережной катилась
Луна, и выплескивалась до дна,
И звездами, звездами кадила
Над кремлями ночь не одна.

Не одна была высока нам
Луна, и при встрече любой,
За шершавым столом, за стаканом
Вина не вставала ли боль.

За каждым полуднем, за каждым,
Над нами всплывал закат,
И глаза, воспаленные жаждой,
Глядели не раз свысока.

Глаза ли, руки ли, губы ли,
Все равно, отчего устать, —
Но день не один погублен.
И набережная пуста.

1920.

Р. П.

Смертного просишь знака ли,
Сердце, пыльный лопух —
Вспомни, зяблики плакали,
Плыл одуванчика пух;

Вспомни, прохладною мятой
Пахло от чьих-то кос.
Облако ветром смятое,
Бросило тень на откос,

Вина закатные вспенив,
Вечер дышал глубоко.
«Во блаженном успении
Вечный покой...»

Имя чье-то жасминное
Пела голубизна.
Дышать медуницей и тмином,
Ничего о страсти не знать!

Только впитывать струи света бы,
Запахи трав и любви!
Сердце, сморщенный нетопырь,
Юность благослови!..

Пусть крапивой, засохшей в яме,
Дни прошуршат в тени.
За последними журавлями
Сердце, тянись, тянись.

Июнь 1920.

Тяжелеет дыхание земли,
И под траурмарши и вальсы
Разлагаются запахи лип
На бульварах, на веках, на пальцах.

Сиреню и страстью вкраплена
В память о невозвратном,
И эта весна каплями
Просочилась к истокам обратно.

Новая серебрится прядь
На висках дряхлеющего Хроноса.
Пропыленное лето вспять,
Дынями пахнув, тронулось.

И ты отползаешь, оскалившись,
Поздняя юность, куда же ты?
Развертывается Апокалипсис
Заката над вечером каждым.

Глаза налились и прозрели,
Стынет грудь, поспевшая к жатве,
Судный день! Отчаянье зрелости,
Ужас кожи, морщинами сжатой.

И под тяжкие вздохи земли,
И под траурмарши и вальсы,
Разлагаются запахи лип,
На бульварах, на веках, на пальцах.

1921. Осень.

ПАМЯТИ СЕСТРЫ

Навстречу вянет неба черный ирис,
И горше чад рыбацкого костра —
На хлещущую по могилам сырость,
На лай шакалий, плачь, плачь сестра!..

В сыром суглинке, сукровью намокшем,
Под шелест ветра, моря и чинар
Овечьих жил касаться ты не можешь,
Смертельной тишине обречена.

Курком взведенный месяц на стороже,
Пропахший порохом осенний ветер,
Шуршит по щебню о последней дрожи,
О захлебнувшейся тобою смерти,

О пепле плоти, о могильной пыли,
О бедных косточках, и ночь навзрыд,
Огарки звезд и облака оплыли,
Соленный мрак конвульсиями взрыт.

Хрустящий гравий морю под обрыв кинув,
Треплет ветер, луною обагрив,
Сухие космы трав, как струн обрывки,
Обвившие упрямо мертвый гриф.

И звезды падающие по осени,
Вестницами гибели и бед,
Межпланетными пространствами проносят
Трагическую повесть о тебе.

1921. Осень.

Ральке.

Снова те же слова чеканю
На серебре весны.
Снова белый пух одуванчика
На откосах лесных.

С утра нависает снова
Тяжелая голубизна,
И ложится на щеки лиловый
Загара и ветра знак.

Дни стручками по ветру катятся.
Подруга моя, помолчим...
У плетня разгорелись акации,
Желтые глаза волчиц.

Послушаем, как за дорогой
Раскуковалась весна.
Немного, совсем немного
Юности осталось нам.

Скоро до капельки выльется
В зеленый кувшин земли.
Весна, золотая кадьница,
Кади нам верхушками лип!..

Ладаном — пух одуванчика!
С ветром на перегонки!
Снова те же слова чеканю
На серебряных ветлах реки.

Еще с ладоней стекала стужа
Когда ты ко мне пришел, —
Теперь ты теплый, и пальцы туже,
Чем шитый на пальцах шелк.

Истлевшее до черна небо над нами
Осыпается звездами до утра.
Вино и ночь выпьем до дна мы,
За нежность, за боль, за страсть.

Пускай облетает ночи копоть
Хлопьями, как весной
Черемуха, еще поцелуй не допит,
Еще не осыпалась ночь.

Осколки звезды на стекле стакана,
Поднятого за тебя. И вот,
Скулит осенняя полночь, такая
Мокрая, хриплый фагот.

От бессонницы губ обугленных,
Горячий по телу полет
Тревожен, и твой румянец смутный
Поцелуями опален.

Не плачь от счастья, не плачь, не плачь же!
Смерчем по телу пройди
Устами неустающими, мальчик
Любимый, ты нежен и дик.

Запелись, запенились, забурлили,
Стихи, стекающие через край. —
Жизнь, распылись, развейся, или
Любовью первой карай!

1921. Осень.

А. Б.

I.

Одна любовь, одна, одна ведь,
Сквозь дни проплакала навзрыд.
Как я могла тогда лукавить,
Играя в ревность и разрыв.

Как я могла любить иначе,
Под знаком ветра и неволь.
Мне слишком больно в эти ночи
За то, что было до него.

Я губы отдала кому-то,
Но разве я Манон Леско?
Скользя по дням, в разливе мутном,
Я и любила только вскользь.

Но все любви занозой выдрав
Из тела, плачу и одно,
Одно лишь имя, как эпитафия,
Поставлю перед каждым днем.

1921. Осень.

II

Когда тобой глаза полны,
Чечеткой сердце о земь,
Измученное за полночь
Ознобом и морозом.

Стихами горло вспорото,
И пенится, и плещет,
И вскрытою аортой
Багровой кровью хлещет.

А щеки бледны изжелта,
И я — ветрам на пробу!
Не знаю, как же вышло так,
Что ты один, до гроба,

Что ты один, до ужаса,
До старости косматой,
Что все в провалы рушится,
И буду я сама там,

И ты со мной, полюбленный
На жизнь и на смерть.
Пускай века на убыли,
Не разлучить им нас ведь.

Последней картой вышел ты,
Любовь и хрипы душат.
Морозом окна вышиты,
Заплакана подушка,

И в жизнь, и в сердце вкрапленный
Черемухой и звездами,
Здесь только ты, и за полночь
Луны полет морозный.

1921. Зима.

ПОЭМА О ДАЛЬНЕМ ПЛАВАНИИ.

ПРОЛОГ.


Стой, ночь!
Росчерки звезд.
Ориона
Узел тройной.
Четкий Медведицы невод,
А небо —
Корабельная верфь,
И луна — корабль отплывающий.
Стой, ночь! Какие слова еще?
Помедли, проверь
Души мотыльковую запись:
Строй стройных строчек,
Стремящий ямб, косноязычный анапест,
Хорей, спутник верный ночи,
И хориямб, страсти тугой бег.
Стой ночь!
Тебе
Закинуть невод
И встречи выловить в московских пустырях.
И снежный прах
Взметать на перекрестках,
Стирая след свиданий и разлук,
А мне вот —
Навстречу вьюгам и муссонам.
Отчаянную и злу,
Лететь, сгорать бессонной,
И пеплом
Теплым
Лечь на невидящие очи,
Свой бег остановившей ночи.



СТОИ,
НОЧЬ!
РОСЧЕРКИ ЗВЕЗД.
ОРИОНА + УЗЕЛ ТРОИ=
НОЙ + ЧЕТКИЙ МЕД=
ВЕДИЦЫ НЕВОД + А
НЕБО — КОРАБЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ
И ЛУНА — КОРАБЛЬ ОТПЛЫ=
ВАЮЩИЙ + СТОИ, НОЧЬ!
КАКИЕ СЛОВА ЕЩЕ? + ПО=
МЕДЛИ, ПРОВЕРЬ + ДУШИ
МОТЫЛЬКОВУЮ ЗАПИСЬ:
СТРОИ СТРОИНЫХ СТРОЧЕК
СТРЕМЯЩИЙ ЯМБ, КОСНО=
ЯЗЫЧНЫЙ АНАПЕСТ + ХОРЕИ,
СПУТНИК ВЕРНЫЙ НОЧИ,
И ХОРИЯМБ

ПРОЛОГ

1



СТОИ НОЧЬ!
РОСЧЕРКИ ЗВЕЗД -
ОРИОНА - / - УЗЕЛ
ТРОЙНОЙ - / - ЧЕТКИЙ
МЕДВЕДИЦЫ НЕВОД - / - А
НЕБО - КОРАБЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ,
И ЛУНА - КОРАБЛЬ ОТПЛЫ-
ВАЮЩИЙ - / - СТОИ НОЧЬ!
КАКИЕ СЛОВА ЕЩЕ? - / - ПО-
МЕДЛИ, ПРОВЕРЬ - / - ДУШИ
МОТЫЛЬКОВУЮ ЗАПИСЬ -
СТРОИ СТРОИНЫХ СТРОЧЕК
СТРЕМЯЩИЙ ЯМБ, КОСНО-
ЯЗЫЧНЫЙ АНАПЕСТ - / - ХОРЕЙ
СПУТНИК ВЕРНЫЙ НОЧИ,
И ХОРИЯМБ,

I.

Набухшее мартом небо нависло,
Как потом пропахший кожух.
От тишины, от карточек и писем,
В дальнее плаванье ухожу.

Прямо в мир огромный и темный,
И по новому жизнь пестра.
Ключьями пены хлещут в лицо мне
Стихи, революция, страсть...

И вот плыву я навстречу старости,
К закатам буйным и мутным.
Сердце полощется мокрым парусом
Под ветром попутным.

Плаванье дальнее! — Страшное снится,
Но не помню, не помню о ком...
Только неба ночного пестренький ситец
До боли в сердце — знаком.

Еще полстолетья в дальнем плаваньи,
Под ветра свисты в снастях,
И каждый новый глоток славы
Мне горечь и соль уснастят.

И ВОТ, ПЛЫВУ Я НА
ВСТРЕЧУ СТАРОСТИ,
К ЗАКАТАМ БУЙ-
НЫМ И МУТНЫМ.
СЕРДЦЕ ПОЛОЩЕТСЯ
МОКРЫМ ПАРУСОМ
ПОД ВЕТРОМ ПОПУТНЫМ.

ПЛАВАНЬЕ ДАЛЬНЕЕ...
СТРАШНОЕ СЧИТСЯ
НО НЕ ПОМНЮ, НЕ
ПОМНЮ О КОМ.
ТОЛЬКО НЕБА НОЧНО-
ГО ПЕСТРЕНЬКИЙ СИТЕЦ
ДО БОЛИ В СЕРД-
ЦЕ ЗНАКОМ.

ЕЩЕ ПОЛ СТОЛЕТЬЯ В
ЕДАЛЬНЕМ ПЛАВАНЬИ
ПОД ВЕТРА СВИС-
ТЫ В СЧАСТЬЯХ
И КАЖДЫЙ НОВЫЙ
ГЛОТОК СЛАВЫ
МНЕ ГОРЕЧЬ И
БОЛЬ УСЧАСТЯТ.

II.

В горле иссохшем клубилось вчерашнее,
Весенней томя изжогой.
День был, как выстрел, быстр и страшен,
Воздух пропыленный жег.

Весна навывлет! Дымилась кровь ли,
Гарь ли струилась из труб?
Капал желчью и кровью на кровли
Солнца закатного струп.

Наползали тучи, громыхали рыдванами,
Грузные, как возы,
Плакаты свисали парусами рваными.
О, плаванья мертвая зыбь! —

Просверлив колоколен штыками
Облачный неба кров,
Жадно Москва пила глотками
Тяжелую, как олово, кровь.

Вместе с весенней пылью, сгустки
Прилипали к влажным вискам,
И там, где сердце, под вырезом узким,
Пульсировала тоска.

Шатался и падал, под корень подрублен,
День, истощенный постом.
В целом мире — только стихи и подруга
И вечности плеск за бортом.

III

Дальних дождей колышата перья,
Грозой горизонт грозит.
Не о любви мне поется теперь
Перед лицом грозы.

Хлынуло! Хлынуло! Небо распахнуто
Ливнем пьянеет Москва!
Морем и свежими стружками пахнет,
Первый весенний шквал.

Это на царство меня венчает
Облака сизый клочок.
Слышу, слышу сквозь грома ворчанье
Славы свисты и клекот.

Гроз и дождей упрямая дробь,
Ливней шуршащий шаг.
Что ты зачала в черной утробе
Чумной весной, душа?

IV

Что май несет в пахучих недрах,
Словам, несказанным еще?
Все тоньше месяц, бледный недруг
Как я, безлюбьем истощен.

Встает он над моей кроватью,
Невозмутимый вестник бед.
Кому стихами отдаваться,
И чьей довериться судьбе?

Пугает слава рыком львиным,
В закатном плавится огне.
Вот надвигаются лавиной
Любовь, отчаянье и гнев...

Но близость неизбежной гибели
Душе беспечной не страшна,
И раскрывается, как библия,
Эпическая тишина.

V

День за днем перелистаю
Ветряной весны.
Точно воронова стая
Налетают сны.

Валятся на ванты скважины,
Реют между рей,
И замедленный и важный
Путают хорей.

Крыльями вздымая плавно
Тополиный прах,
Каркают о дальнем плаваньи,
О пустых морях.

Но не страшны крики ворона,
Я привыкла к морю,
И корабль давно повернут
К берегу кормой.

1921. Весна.

ЭТА ОСЕНЬ

ЛИРИЧЕСКАЯ СЮИТА

I

Была ли страшнее баллада,
Чем эта, сырая, волчья,
В окна прибоем прохладным
Ветра, дождя и полночи.
Закаты текут за закатами,
За ночью ночь, за рассветом
Рассветы... Плывут облака так,
Пронзенные светом и ветром,
На мутной луной клейменом
Небе. В такую осень
Сколько чужих имен
Мне сердце на память приносит.
И все они ветром измолоты,
Стынут над пустырями,
Где разлагается молодость.
Грешная и упрямая.
Но губы до боли стиснув,
Нынче тайны не выдам
Ни листьями и аметистами,
Опадающим персеидам,
Ни галочьим стаям за форточкой,
Ни сучьям осин, ни сырости,
Ни ночи, признанья на корточках,
Вымаливающей, как милостыни.

II

Эта осень, не такая ли,
Как и те, что память копит,
Те, что заревом растаяли
И осели горьким опиём.
Не такая ж ли бездомница?
Прикурнет на мокром гравии
И опять по липам ломится,
Улюлюкает и травит,
И выманивает слякотью,
Одиночеством и стужей.
То, о чем в полушку плакать,
Что для сердца боль и ужас.
Но не выманит, не выманит,
(Ветер, круче, туже, ветер!)
Ни любви моей, ни имени,
Нежнейшего на свете.
С ветром липам нету сладу.
Галочий горланит табор,
И шотландскою балладой
Разливается сентябрь.

III

Со мной печальные мои тетрадки
Исчерченные по ночам,
Глаза и звезды играют в прятки,
А черный ветер за толмача —
Им переведены и хруст осенний
Морозом скрученных осин,
И мыший шорох, и усеянная
Хлопьями черемух — синь.
И хладный воздух, и пиррихии
Последних ливней, и она,
Моя предательница тихая,
Моя любовница, луна,
И вот — стихи, тебя обманывать,
Чужие выплакать слова,
И всхлипы вечера туманного
За плач о счастье выдавать.

IV

Клонится вечер, загубленный,
Затравленный ветром олень,
Бессонные бьются губы ли
Бабочками у колен,
Строчки ль идут в атаку,
Царапаясь на блок-нот, —
Волчья, сырая, так вот
И бьется прибором в окно!
Много ли выманит тайн еще,
Тех, что всегда со мной?
Где мне найти пристанище,
Если холодно и темно,
Если юность давно развеяна
По пустошам пухом гагар;
Вот, по ночным кофейням,
Глотая угар и гарь,
Любовь и тоску таскаю
За пазухой, как псалтырь,
А под ноги бьется Тверская
В припадке: «Одна, мол, ты!»
Строчки скулят нескладно,
Стаей голодных волчат:
Горло сожги руладой,
Только не надо молчать.
И на душу мою с облавой,
Под луной, как больной сердолик,
Пропахшая лавром слава
Шествует издали.

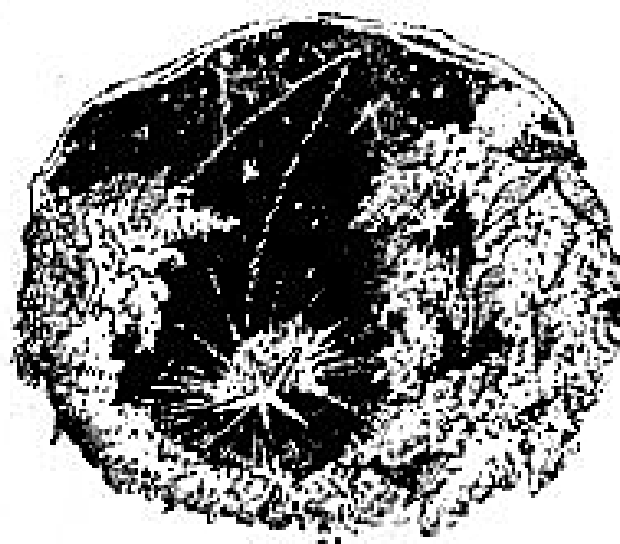
V

«Звездой кровавой ты текла».

Блок.

Третий год по проклятой гиперболе
Головокружительный бег!
В пропасти осени первой ли
Падать с разбега тебе?
На рассвете сиренью персидской,
Осыпающейся на газон,
Аметистовых персеид сколько
Скользнуло за горизонт.
Когда-то сквозь ночь пролетала
И погасла на полпути,
Патронесса моя Наталия,
Звезда из Никомидии.
И еще из породы летучей,
(Почему так сердце болит?)
Прочеркнул за осенние тучи
В кубанскую ночь болид.
Была звезда, и нет ее.
Созревший по осени плод
Знает падение это,
Блаженный и страшный полет...
...В пропасти осени первой ли,
Падать с разбега тебе?
Третий год по проклятой гиперболе
Головокружительный бег!..

Январь 1922.



СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКТИВНЫХ
СБОРНИКОВ

(1920 - 1923)

Когда ж опять пески и камни
Ступни босые опалят?
Когда, когда вернет судьба мне
Азербейджанские поля?

И медь цикад, и клекот орлий,
И над Араксом звон осок —
Ах, до сих пор щекочет горло
Смерчами взвихренный песок.

И слов забытых сердце ищет:
«О, джан, о, джан, мэн бульдурам!»
Вернусь ли вновь, слепой и нищей
К твоим степям, к твоим горам?

Какою дикою отравой
Мне сердце напоили вы?
Молчат внимательные травы,
Скрипят агавы, стонет выпь.

Эта осень, не такая ли,
Как и те, что память копит,
Те, что заревом растаяли
И осели горьким опиём?
Не такая ж ли бездомница,
Прикурнет на мокром гравии
И опять по липам гонится,
Улюлюкает и травит,
И выманивает слякотью,
Одиночеством и стужей.
То, о чем в подушку плакать,
Что для сердца — боль и ужас!
Но не выманит, не выманит,
(Ветер, круче, туже, ветер!)
Ни любви моей, ни имени,
 Нежнейшего на свете.

С ветром липам нету сладу,
Галочий горланит табор,
И шотландскою балладой
Разливается сентябрь...

Лишь одно из груди недомолвок
На покой и волю не меняй,
Проще рощ и соловья и Сольвейг
Слаще звезд: не покидай меня. —

Точно в ад, в шальной и звездный улей
Поцелуев и под ливень глаз,
Загнанная ночью, убегу ли,
Перебежчица любви, в последний раз.

Жжет шкурами воловьими
Распластанная ночь...
Мне горячо от слов его,
От губ его невмочь!

Мне душно от любви, и вот —
О ребра бьется боль...
Страшнее взгляда Виева
Полночная любовь.

Пчелиной ораторией
Гудит по венам страсть,
И ночь молчаньем вторит ей
До самого утра.

За окнами теплынь и
Лимонная луна,
А тут — любовь полынная
И боль, — как белена;

Подушка пахнет елью
И копотью свечи...
Офелия, Офелия,
Безумью научи!

Как позабыть глаза его,
И эту ночь, и как
В окно вползала заревом
Закатная тоска.

Как вьюга выла филином,
Шарахаясь в окно,
Какое было пыльное
У щек моих сукно...

.

Тепло тебе на иле там,
Безумная сестра.
Офелия, забыла ты,
Как это страшно — страсть!

ПОДРУГА

Рале Потольской.

Теперь ты вышла замуж,
Теперь, господь помилуй,
В каракуле и замше
Разгуливаешь, милая.

А помнишь, — подожди-ка,
Всю память выжгло засухой, —
Корицей и гвоздикой
Насквозь пропахла пасха;

Синей сапфирных запонок,
В погоду и ненастье
Синели окна, за полночь
Распахнутые настезь.

Все сердце хочет вспомнить,
И вспомнить больше не с кем,
Как бушевали в комнате
Сквозные занавески.

Когда, совсем по Тютчеву,
Ожегши Гебе губы,
Загрохотал по тучам
Громокипящий кубок.

И ливень бился в липах,
Веселый эпилептик,
И в стекла окон лип он
Тополиным лепетом.

Следили с подоконника,
В белом, под соломкой,
Небо беспокойно как,
В облачных обломках.

Грозою и теплыню
Рухнул май, не так ли
В это лето хлынув
Пели мы и плакали.

Еще одно, ребром раскрытой двери
Любовь (как угадать?)
Вонзится в память, нежным суеверьям
Раскрытую всегда.

Когда такие штормы роз и пыли
И май к лицу прильнул,
Кочующая память не забыла
Цыганскую луну.

Пустые дни зачеркнуты закатами,
Заразой зимних зорь,
Но сердцу встреча памятна, пока там
Цветет любви узор.

Когда черемухой слетали звезды,
Персея чистый дар,
В предчувствии зимы томился воздух
И холодел, когда

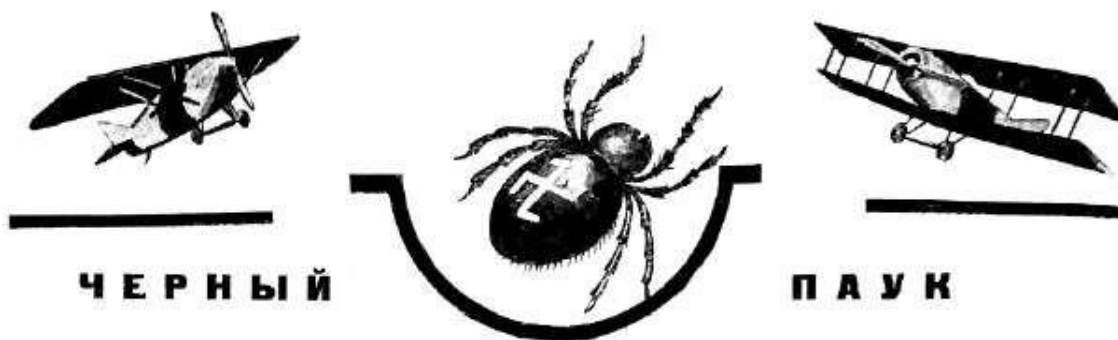
На голоса кофейного Орфея
Мой голос отвечал,
И теплилась, к рассвету розовея,
Зеленая свеча;

Когда пророчил грозы утра петел
(Все ближе грозы те),
Вы были рядом, ветренный свидетель
Полуночных затей.

ЧЕРНЫЙ ПАУК

Илл. А. Гончарова и Ю. Пименова

(1925)



ГЛАВА I

НАПАДЕНИЕ В ПЕТРОВСКОМ ПАРКЕ.

ЧЕРНЫЙ ПАУК.

Над аэродромом вставал розовый весенний закат, кричали галки, жужжали последние пропеллеры, когда старый военлет и комиссар Военно-Воздушной Академии, тов. Афанасьев, почувствовав приступ малярии, отправился домой.

Заканчивался конкурс парашютов. По всему небу плавали огромные зонты, грея круглые спины свои в косом желтом луче.



Афанасьев устал после нескольких часов напряженной работы, все тело его ломило, начинался озноб, но воздух был так свеж и прозрачен, что он решил пройтись домой пешком.

Он в последний раз обернулся на аэродром. Прямо перед ним на жемчужно-розовом и малиновом закате медленно опускался большой черный парашют. Кровавые блики играли на его крутых боках. Он плавно покачивался, иногда, точно в раздумье, замедляя спуск.

Казалось, в воздухе повис огромный черный паук, в вытянутых лапах которого билась беспомощная жертва.

— ...«Черный паук»...

— Не правда ли, отличная штука, товарищ комиссар? — обратился к нему инструктор ВВА, летчик Юргенс. — Это парашют Козлова, того самого комсомольца-курсанта, что отличился на польском фронте.

— Черный паук, — пробормотал Афанасьев, — черный паук...

Мысли его путались от лихорадки.

— Да, да! Вы уже знаете его странный девиз? Хотя парашют, действительно, напоминает паука. Молодец наш Козлов!

Афанасьев зашел в общежитие, выпил стакан чаю, отдохнул немного и пошел домой.

ЗАЯЧЬЯ ДУША.

Было уже темно, когда он шел Петровским парком. Воздух быстро холодел, и сильнее запахли липовые почки. От земли подымалась легкая дымка. Галочий табор еще горланил, устраиваясь на ночь.

Где-то, очень далеко, проходила первая весенняя гроза, и бесшумные зарницы мигали за деревьями.

Афанасьев быстро шагал, дрожа от озноба.

— Придется зайти к Николаю, — с неудовольствием подумал он, поморщившись при мысли о неизбежной истерике племянника, которой заканчивались все их принципиальные споры.

Николай Иванович Тришатный, Завтех в ВВА, кичился интеллигентским пацифизмом, прикрывавшим его от опасностей военной службы. Он был неисправимым врожденным обывателем, стихийным обывателем, но с целым арсеналом хороших слов.

Когда-то сестричка Афанасьева, милая девушка, увлеклась кокетливым либерализмом некоего юриста, и вышла за него замуж. Сын ее унаследовал от отца заячью душу и пристрастие к дешевому пафосу.

Афанасьев племянника презирал, тот его ненавидел, и оба отлично знали это.

...Спать... спать... спать...

Комиссар шел быстро, усилием воли приводя в порядок заплетающиеся мысли.

В этой ночи была грызущая его тайная тревога, которую он упрямо стряхивал, прислушиваясь к бодрому хрусту песка.

Между деревьями сверкнули освещенные окна. Это был домик Тришатного.

ШАГИ.

В это время военлет Афанасьев услышал за собой торопливые и неровные шаги. Такие шаги бывают у людей с нечистой совестью, — подумал он,

но не имел силы обернуться. Сами ноги несли его, совершенно изломанного лихорадкой, к теплой постели и облатке хины.

Шаги приблизились, потом внезапно стихли.

... Спать... спать... спать...

Он схватился за виски холодными ладонями.

Вдруг страшный удар обрушился на его голову, почти раздавив пальцы.

Постояв неподвижно секунду, Афанасьев рухнул на землю, уткнувшись лицом в холодный влажный песок.

Ему показалось, что кто-то крикнул над самым его ухом:

«Черный паук... Черный паук» — ...но эти странные слова потонули в нестерпимом звоне, разламывающем череп.

Несколько минут лежал он без сознания, но душистая прохлада земли освежила его лоб, и он пришел в себя. В ушах звенело, болезненно отступив пульс, пальцы мучительно ныли.

Все это было бы похоже на смерть, если бы не острая физическая боль, которой смерть не знает. Скорее, это был отвратительный паралич.

Он лежал с закрытыми глазами и не мог пошевелиться, но ясно различал каждый шорох в сухой прошлогодней траве и на песке.

Кто-то на цыпочках бежал от него по аллее. Он слышал свистящее, трудное дыхание и шелест макинтоша.

ЧТО С ВАМИ, ТОВАРИЩ?

Прошло неопределенное время, не то час, не то пять минут.

Летчик лежал, не двигаясь.

Снова шаги... ближе... ближе... Послышалось заглушенное восклицание, кто-то подбежал к нему.

— Ох, да никак это товарищ Афанасьев!.. — Говоривший осторожно повернул голову комиссара.

— Жив, пробормотал он... — Что с вами, товарищ, вам дурно?.. Товарищ Афанасьев! Товарищ Афанасьев!

Афанасьев усилием воли стряхнул с себя мучительное оцепенение, с трудом поднял голову, открыл глаза и зажмурился от ужаса.

Над ним склонилось страшное в весенней ночи, изуродованное лицо, даже не лицо, а один сплошной багровый шрам. Два испуганные глаза без ресниц, под вывороченными веками, смотрели на него...

— Я Козлов, товарищ комиссар. Козлов из ВБА.

В голове Афанасьева, точно бомба, разорвалось воспоминание:

— Да, да... помню... Козлов... Вы сегодня выступали на конкурсе... Черный паук... Почему черный паук?.. Ох, как трещит башка... У меня бред...



Не обращайтесь внимания... Помогите мне встать. Так. Удивительно, как я вас не узнал сразу!.. Теперь мне легче. Спасибо, товарищ, я дойду сам... Мне вон в тот домик, к Тришатному.

В нескольких шагах от них, между стволами лип, как желтые глаза, светились квадраты окон.

В одном из них гостеприимно мигала лампа, и ровным синим пламенем горел примус.

— Что же случилось, товарищ Афанасьев? Вам было дурно?

— Какой-то хулиган ударил меня по голове, да голова у меня крепкая, а то бы — тю!.. — Понять не могу, почему.

Он не закончил, крепко сжал губы, подумал и сказал про себя:

— Кто... кто вы такой?..

— Как вы себя чувствуете, товарищ Афанасьев?

— Скажите сначала, кто вы? Я вас не знаю.

— Конечно, бред. Ну, конечно!

— Послушайте, Козлов, вы ничего не слыхали?

— Мне показалось, что кто-то бежал в том направлении.

— А крика вы не слышали?

— Нет, — с недоумением ответил курсант, — крика никакого не слышал.

— Ну, конечно... конечно... У меня, знаете ли, припадок малярии, я брежу. Нужно шагать. Прощайте, товарищ, спасибо вам.

— Прощайте, товарищ Афанасьев.

ИОСИФ ПАЙОНК ИЗ МИНСКА.

Полыхнула зарница, осветив зеленую калитку. Военлет Афанасьев скрылся в палисаднике. После ослепительной вспышки стало еще темнее. Козлов провел рукой по лицу, вдохнул, потом нагнулся и, чиркнув зажигалкой, стал исследовать место нападения. Из-под его ног выскочила кошка, и бесшумно, как нетопырь, скользнула в темноту. Он шарил по земле в поисках каких-нибудь следов, оставленных нападавшим. Огонек зажигалки бесильно боролся с быстро густеющей тьмой. Ночь сомкнулась над Москвой, прикрыв тучами усталое небо.

Вдруг чей-то голос раздался над ухом Козлова.

— Слава богу! Я думал, здесь кого-то раздевают! Издали слышу крик, потом взволнованные голоса!.. В чем дело, товарищ?

Козлов вздрогнул. Зажигалка, мигнув, потухла. Темнота ослепила его. Он ответил, взглядываясь в неясную фигуру стоявшего перед ним человека.

— Какой-то хулиган напал на комиссара ВВА, товарища Афанасьева. Но он уже оправился и пошел к своему племяннику, Тришатному. Должно быть, уже спит.

— Как, Афанасьев? Знаменитый летчик? Вот так штука! А я только сегодня хотел с ним говорить. Так он сейчас не у себя дома?

Удивленный настойчивыми расспросами незнакомца, Козлов осветил его неверным огоньком зажигалки. Перед ним стоял маленький невзрачный человечек в потрепанном дождевике, с круглыми роговыми очками на беспомощном птичьем носу.

Человечек вздрогнул при виде обезображенного лица Козлова, но как будто узнав курсанта, обрадованно и суетливо заговорил:

— Товарищ Козлов, кажется? Герой гражданской войны! О, я вас знаю! Я счастлив познакомиться с вами.

Козлов почувствовал раздражение против этого назойливого субъекта.

— А вы кто такой? — спросил он сухо.

— Я? Я — Пайонк, Осип Пайонк к вашим услугам, сотрудник Минской газеты... Пожалуйста... вот мое удостоверение личности... вот. — Он вытащил бурый бумажник и стал рыться в нем лихорадочно дрожащими пальцами, роняя какие-то бумажки на землю.

— Не надо мне ваших документов, гражданин, — ворчливым тоном сказал Козлов. — Я не милиционер. Подбирайте ваши бумажки и катитесь дальше. Не мешайте мне.

— Я сейчас... сейчас... — заволновался Осип Пайонк, сотрудник Минской газеты. — Он торопливо шарил по земле, подбирая бумаги и испуганно поглядывая на Козлова.

Курсанту стало стыдно своего резкого тона.

— Идите, идите, — сказал он уже мягче. — Вы мне тут все дело испортите!

Журналист зашуршал бумажником, вздохнул и ушел, пригибаясь к земле, как побитая собака.

— А, черт, — выругался Козлов. — Теперь тут ничего не разберешь! Вся земля истоптана!

ВХОДИ, ДЯДЯ.

Подойдя к крыльцу, Афанасьев столкнулся с племянником. Он преры-

висто дышал и зябко кутался в резиновый <плащ>.

— Ты это откуда? — странным голосом спросил военлет.

— А, дяденька!.. Да вот, мотоциклетку чинил... В сарае холодно, сыро, боюсь, как бы не простудиться.

— Наташа дома?

— Дома. Входи, дядя!

Тон его был не очень любезен, но Афанасьев с блаженством погрузился в раскрывшуюся ему навстречу теплую, светлую тишину.

ГЛАВА II

КТО СТРЕЛЯЛ?

ЗМЕИНЫЙ ШИП.

— Побольше лимону, дядя Володя... Пожалуйста, пей и не разговаривай.

— Славная у меня племянница, — умиленно подумал, допивая четвертый стакан чая, Афанасьев.

Припадок пошел на убыль. Теперь он согрелся, и больше всего на свете хотел спать.

Николай Иванович раздраженно ходил из угла в угол, глотая язвительные слова, срывающиеся с его губ.

— В толк не возьму, — сказал Афанасьев, — кому это вздумалось меня по темечку тюкнуть. Вероятно, простое хулиганство... Милое наследие прошлого.

Николай Иванович не выдержал:

— У нас, кажется, и своего хватит, без наследства. Порядочки... Милиция тоже хороша! Такие номера почти среди бела дня! Прямо стыд! Что ж ты, дядя, не закричал, не побежал за ним?

Афанасьев насмешливо взглянул на племянника.

— Вот ты уж, наверное, побежал бы... от него. — Николай Иванович вспыхнул, хотел ответить, но суровый взгляд жены заставил его промолчать.

— Ты прекрати; знаешь, — продолжал Афанасьев, — что хулиганство — это несчастье, которое нельзя изжить сразу. У нас недостаточно средств, чтобы осветить и охранять все окрестности Москвы. Брось ныть, Николай Иванович, свою интеллигентскую печень испортишь...

Он встал и потянулся.

— Спать хочу. Если бы не Козлов, я, вероятно, и сейчас бы еще валялся

в парке. Жаль парнишку — как его исковеркало!
— Разве он не всегда был такой? — спросила Наташа.

РАССКАЗ АФАНАСЬЕВА О КОЗЛОВЕ, В ПЕРЕДЕЛКЕ АВТОРА.

Года три тому назад, в самое пекло гражданской войны, Козлов был в N-ой армии. Он числился летчиком-наблюдателем и готовился перейти в военлеты. В то горячее время особых специальных знаний не требовалось, каждый летчик был дорог, а Козлов, парнишка способный, ухитрился на практике основательно изучить летное дело. Было ему тогда не больше 19 лет. Так вот, получает штаб этой армии радиотелеграмму от командующего юго-западным фронтом, такого содержания:

«Последние дни противник широко применяет самолеты в бою с кавалерией, таким способом восполняя свои слабые силы. 16 и 17 августа отряды противника, в числе 9 самолетов кружились над наступающими частями Красной армии. Войска, атакованные не менее чем 3 раза в день, понесли большие потери в людях и конях.

Прошу распоряжения о немедленной высылке в мое подчинение одной противосамолетной батареи и одного истребительного патруля, в составе не менее пяти самолетов».

Значит, лоб в лоб! Что там противосамолетная батарея, самолеты — вот это так.

Собрали несколько аппаратов (гробы, старье), отрядили в штаб Юго-Западного фронта комиссара корпуса с инструкциями и очень важными документами.

Была осень. Август месяц. Ранний листопад, яблоки, холодок... Впрочем, к рассказу о Козлове это не относится.

Командовать патрулем назначили Яновского, бывшего офицера, опытного тактика.

Эта был лояльный человек, с красным военным стажем, ничем не запятанный и очень приятный в общении. Один Козлов его недолюбливал.

Раненько утром отправились.

Комиссар сел к Яновскому на «Бреге», отбитому у белых, с приличным по тому времени мотором.

Итак, впереди летит Яновский, вторым летчик Угрюмов с наблюдателем Козловым, и далее еще два паршивеньких допотопных «Эльфауге».

Все шло благополучно. Стали уже приближаться к фронту, где предстояло сесть у штаба.

Но вот над местечком С., откуда рукой подать до польской границы — Яновский погибает крутой вираж и летит на запад. Весь отряд покорно сле-

дует за ним.

Козлову не по себе. Тут что-то неладно! На кой черт ведущему менять намеченный в штабе маршрут. Он следит за Яновским и старается понять, что бы это все значило. Вдруг, на глазах у замершего от изумления Козлова, «Бреге» начинает «развлекаться». Он ни с того, ни с сего делает крутую петлю. Из его фюзеляжа выпадает какой-то темный предмет и камнем летит на землю.

— Комиссар выпал, — кричит Угрюмов. — Забыл пристегнуться, черт его...

Но Козлов мгновенно соображает:

— Предательство! Яновский сбросил комиссара и собирается удрать в Польшу с документами нашего штаба.

— Догоняй паршивца, — орет он благим матом. — Дело нечисто!

Окончив мертвую петлю при выключенном моторе, Яновский постепенно набирает скорость, но это дает возможность Угрюмову подлететь к нему совсем близко.

Вдруг — над фюзеляжем «Бреге» беленькое облачко ... еще... еще...

Будто горох барабанит по крылу... еще дымок... еще... и Угрюмов, с простреленной головой, сползает со своего сиденья.

— Хорошо, что перед полетом установили добавочное управление, — думает Козлов и выравнивает начинающий мотаться «Эльфауге».

Остальные самолеты отстают. Там до самого конца так и не могли понять, в чем дело.

Яновский сначала отстреливался из револьвера, потом затих. Пулемет его, установленный неподвижно, мог стрелять только вперед. Видно, он решил, что тратить время на револьверную стрельбу не стоит. Он делает ручкой Козлову и набирает высоту.

Козлов — летчик неопытный. Орудовать пулеметом, одновременно держа управление — для него вещь почти невозможная, но когда под ним развертываются пограничные леса, он делает героическое усилие, и начинает обстрел «Бреге». Он поливает его из пулемета так настойчиво, что Яновский начинает волноваться. Он снова стреляет в Козлова. Козлов, раненный в плечо, чувствует, что силы его покидают, скоро он не сможет больше следить за самолетом.

Под нами уже Польша. Яновский будет в безопасности, с важными документами в руках. Медлить нельзя. Осталось только одно — таранить.

Погибать, так погибать, но документы в панские жадные лапы не попадут. Козлов решается. Он напрягает последние силы, и слова обстреливает Яновского из пулемета.

Конечно, «Бреге» был быстроходнее гробоподобного «Эльфауге», и мог благополучно удрать.

Но Яновский, напуганный пулеметным обстрелом, на который он не мог отвечать, растерялся, и это его погубило. Он сделал переворот через

крыло, чтобы встать носом к противнику и ответить ему своим пулеметом, но, не рассчитав высоты, очутился как раз под Козловым.

Через минуту шасси и колеса «Эльфауге» с силой ударились о его крыло.

«Бреге» покачнулся, бессильно повис в пустоте и мертвым штопором пошел в землю.

Но Козлову было не легче.

В то время, как он таранил неприятеля, самолет по инерции продолжал двигаться, и «Эльфауге» сделал мертвую петлю, из которой неопытный Козлов выйти не сумел; песенка его была спета.

Головой вниз пропланировал он до самой земли, перешел в пике и...

Но тут произошло что-то совсем необычайное... Козлов не сторел, не умер от разрыва сердца и не разбился насмерть!

Он вылетел из самолета метров за десять от земли и свалился на густые вершины дубов и кленов.

Ветви их не очень дружелюбно встретили летчика и швырнули его, испарапанного, изуродованного, на мягкую землю.

Но падение было ослаблено, и Козлов остался жив. Он пролежал в лесу несколько часов, чуть не умер от потери крови и лихорадки, пока его не нашел лесничий, поляк и тайный коммунист.

Он приютил Козлова у себя в сторожке до ночи, и ночью перенес его на своих плечах через границу на ближайший советский пост.

Дали знать в Н., где снизились три остальные самолета.

Летчики были потрясены, когда увидели изуродованного, но живого Козлова. Они были совершенно убеждены, что Козлов разбился насмерть.

Его спасение было настоящим чудом. Козлов пролежал в госпитале глухой, слепой, в параличе два года. Едва удалось его отстоять от смерти.

Его молодой организм и мужественное сердце победили. Он выздоровел, но на всю жизнь остался уродом.

ВОЙНА — ЗЛО.

— Война всегда зло, — буркнул Николай Иванович. — Тут было не мужество, а слепая ярость, которая бывает и у собак по время драки.

Афанасьев засмеялся:

— Вот, почему ты в двадцатом году, в самый ад, оставил отряд из-за ревматизма и пошел в завхозы. Помню, был еще один случай...

— Полно, дядя...

Наташа покраснела и умоляюще взглянула на Афанасьева...

Ей было стыдно за мужа, но она щадила его.

Тришатный с ненавистью поглядел на дядю.
— Война всегда зло, — упрямо повторил он,
— Зло-то она зло, — протянул холодно комиссар. — А вот объясни мне, почему ты так много кричал о защите родины в семнадцатом году? Откуда же у тебя такое отвращение к войне?



— Бросьте, милые, — попросила Наташа. — Пора спать. Иди, дядя, наверх в Колину комнату, там тебе приготовлена постель. Не забудь принять хину.

Афанасьев ушел.

Через полчаса, после основательной проборки, сделанной ему Наташей, Николай Иванович проскользнул в свою комнату и молча разделся. Афанасьев уже спал.

Воздух тяжелел в предчувствии грозы. Сквозь закрытое окно слышался гул взволнованных деревьев. Зарницы вспыхивали ярче и продолжительнее. Потрескивая, горела свеча.

ЗАГАДОЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ.

Звон разбитого стекла и тупой звук выстрела разбудили комиссара.

— А, черт, что еще такое!

Воздух еще звенел, как потревоженная струна. Едва заметно и сухо пахло порохом.

Справа от окна, прислонившись к стене спиной, стоял Тришатный. В глазах его стоял непередаваемый ужас.

— Что же случилось? Кто стрелял, черт вас всех возьми, — крикнул летчик, спуская ноги с кровати.

— Кто-то пытался влезть в окно, — пробормотал Николай Иванович. — Я видел руку и выстрелил. Я не знаю, кто это был...

— Где же твой револьвер?

— Он... я... я его швырнул, в того, кто сюда лез.

— Что за чушь! — воскликнул Афанасьев, подозрительно поглядывая на племянника. — Если это был вор, чего же ты испугался?

Он кинулся к окну, распахнул его настежь, зазвенев осколками, и выглянул в палисадник.

Ветер ринулся в комнату, задувая свечу. Издали хрипло заурчал гром. Тучи закрыли луну, и в зияющей тьме было невозможно что-нибудь различить. Но вспыхнувшая зарница на минуту осветила пустой палисадник и просторное ночное небо. Никого.

— Эх ты, — с сердцем проговорил Афанасьев. — Вор! Вор! Тебе верно приснилось. Взобраться по этой гладкой стене на второй этаж невозможно... Ты напрасно стрелял... А это что?

Он бросился к своей кровати. На четверть метра выше подушки, на которой только что покоилась его голова, в стене была выбита ямка, в глубине которой мутно поблескивал свинец.

— Кто же стрелял, ты или. Я слышал только один выстрел, — яростно спросил он, резко повернувшись к племяннику.

Николай Иванович, бледный, как полотно, судорожно тряс головой.

— Ты чего?

— Паук, черный паук! Он свалился на меня с оконной рамы!

— Пауков боишься, — вне себя заорал Афанасьев. — Паук тебе не война!.. Говори немедленно — стрелял ты или нет, гадина ты этакая!

— Я не стрелял, — пролепетал тот... — Я швырнул в него маузером, когда он выстрелил... Я испугался... Я не успел прицелиться. Он мог меня убить.

— Фу, ты... — выругался Афанасьев.

В комнату ворвалась Наташа.

Увидев осколки стекла на полу, дрожавшую фигуру мужа, взбешенного Афанасьева, она тревожно спросила:

— Что случилось?
— Твой красавец очень удачно прогнал вора, — проворчал военлет. — Он не нашел ничего лучшего, как швырнуть в него заряженным револьвером.
— Я видел его руку... я видел его руку, — как безумный повторял Тришатный. — Он мог меня убить, ведь он стрелял в меня...
— Трус, жалкий трус. Он стрелял не в тебя, а в меня, если только... — Афанасьев внезапно замолчал и стал быстро одеваться.
Над самым домом загрохотал гром. Порыв ветра стукнул оконной рамой. Свеча погасла.
— Идем вниз, здесь нельзя оставаться, — скомандовала Наташа.
Все спустились в столовую, где уже собрались все жильцы, поднятые с постели выстрелом.

КТО ЭТО?

В дверь постучался милиционер.
— Здесь стреляли? Я с Большой Московской слышал выстрел.
Ему рассказали о случившемся.
— Надо бы осмотреть землю под окном.
Принесли фонарь. Но когда они открыли дверь — в лицо им брызнули первые крупные капли, и через минуту дождь лил, как из ведра.
Нечего было и думать найти какие-нибудь следы на размокшей земле. Милиционер поднял покрытый грязью револьвер.
— Это мой, — сказал Тришатный, взглянув на него.
— Что у вас в этом сарае? — спросил милиционер.
— Он у нас всегда заперт. Там хранится мотоциклет. Впрочем, может быть, я забыл его запереть сегодня, — сказал Николай Иванович.
Все двинулись к маленькому сараю, прилегавшему к хлеву.
Дверь оказалась не запертой. Милиционер осторожно открыл ее, держа револьвер наготове. Пахнуло бензином и маслом. Дождь барабанил в деревянную крышу, и весь сарай дрожал от ветра.
— Эй, есть кто там? — выходи, стрелять буду! — Мутное пятно света ползло по пыльным, покрытым паутиной стенам.
Все ахнули: из-за мотоциклетки, от стены отделилась чья-то фигура. Луч фонаря зацепил ее и осветил испуганное небритое лицо и грязные лохмотья.
Дикий крик разорвал тишину:
— Федя! — крикнула Наташа. Афанасьев нахмурился.
Николай Иванович кинулся в сарай, сжав кулаки.

— А, мерзавец, так это ты в меня стрелял! Бродяга попытался улыбнуться, но улыбка его была такая жалкая, что всем стало жутко.

— Я ни в кого не стрелял. У меня и шпайера* -то нет. Я спрягался здесь потому, что вот его боялся, — он кивнул на Николая Ивановича. — Хотел поговорить с Наташей... Мочи моей нет. Грязь меня заела...

Милиционер схватил его за рукав.

— Ты кто такой?

Бродяга молчал, все так же жалко улыбаясь. Невольно все обратили внимание на свежую царапину на его костлявой шее. Такие царапины бывают от пореза стеклом.

— Кто это? — грозно обратился милиционер к Наташе.

— Мой брат, — ответила она.

ГЛАВА III.

БЕЗ НАЗВАНИЯ

«ЖИСТЬ».

Федька прочно засел на Хитровке. Изредка, между двумя ругательствами, когда под опорками сверкал снег, а над головой звезды, в едва намеченной памятью дали вставал черемуховый садик, отцовские мозолистые, но нежные руки, фабричные гудки, шуршанье приводных ремней, — все то, чего может быть и не было никогда, и что заслонялось тем, что было не так давно.

А было вот что:

Блестящая влажная палуба. Море... Соленый воздух...

Здоровая капитанская зуботычина, свернувшая ему челюсть и озлобившая душу, заставила его дезертировать.

Началась волчья бродячая жизнь. Под Ревелем его били; в лесу было холодно, болела грудь; в Нарве опять били в участке, переломали три ребра за краденную булку. И вот у него стали крепнуть клыки, а сердце обросло волчьей шерстью.

Первая революция застала его в Одесской тюрьме, куда он попал за драку в публичном доме.

* Название револьвера на воровском жаргоне.

Его отпустили на волю, до одури пронизанную весной, солнцем, громом...

Потом — Петроград...

Чем-то смутно недовольный, бродил он по Питеру до октября. В октябре поддался соблазну штанов-клеш, маузера и подсолнухов. Гонял в товарных вагонах по Союзу, отвоевывая у мешочников муку и соль. Пил. Пил. Он проспал революцию, и сон его был буйным и яростным. Проснулся Федька в опорках, на Хитровке, где звали его «Федька-Марафет».

Смутное беспокойство, заглушенное бахвальством удачливого вора, томило его. С завистью глядел он на случайно проходивших воровской квартал братишек-морячков.

Сердце ныло, как больной зуб. Он хотел уйти, попросить у кого-нибудь помощи, но было до тошноты стыдно, и мешало веселое и пустое отчаяние.

Однажды, когда стало невтерпёж, он пошел к сестре, к милой и доброй сестре Наташе. Федька ненавидел своего шурина, и когда, подойдя к окну домика в Петровском парке, увидел в ярко освещенной столовой скучное и недоброе лицо Николая Ивановича, злоба закипела в нем, и у него вспыхнуло жгучее желание убить Тришатного.

* * *

Наташа заплакала.

— Ей-богу, Наташа, чего ты, в самом деле... Я на мокрое никогда не пойду, — растерянно бормотал хитрованец.

— Айда в дом!.. Не мокнуть же здесь, — решительно сказал милиционер. Там разберем.

ДОПРОС.

В комнате начался допрос в присутствии председателя домкома, Иеронима Шварца, агента ГПУ.

— Ваша фамилия? Имя?

— Федор Иванов.

— Судился?

— Две судимости, два привода.

— Почему вы прятались?

— Хозяина боялся. Он бы меня выгнал, а я хотел попросить у сестры

место для меня какое-нибудь сыскать.

— Что у вас за царапина на шее?

— Малость подрался тут с одним. Штаны в закладе были, так не хотел отдавать.



— Так. А вы выстрел слышали?

— Слышал.

— Почему же вы не поинтересовались, кто стрелял?

Федька помялся.

— Засыпаться боялся. Мне это опасно. Документы не в порядке.

ПУЛЯ ИЗ РЕВОЛЬВЕРА СИСТЕМЫ МАУЗЕР.

В это время Иероним Шварц внимательно рассматривал револьвер Тришатного. Он понюхал дуло, едва заметно пожал плечами и обратился к Афа-

насьеву:

— Вы достали пулю из стены? Она у вас? Дайте-ка ее сюда на минутку. Это — пуля револьвера системы «Маузер».

Афанасьев через плечо Шварца поглядел на пулю, перекатывающуюся по его ладони.

Они переглянулись.

— Выстрел был только один? — вполголоса спросил Шварц.

— Да, один.

— Гм!..

Они опять переглянулись. Допрос у стола продолжался.

— Ну хорошо, а видели вы кого-нибудь в саду?

— Видеть не видел, а выстрел слышал.

— Я все-таки не понимаю, почему вы спрятались, а не ушли.

— А куда же мне было идти, опять на Хитровку? Думал, утром хозяин пойдет на службу, тогда и я выйду.

— Скажите, товарищ Тришатный, — перебил допрос Шварц, — револьвер ваш был заряжен?

— Да.

— И вы ни разу из него не стреляли с тех пор, как в последний раз его зарядили?

— Этого я не помню! Нет, впрочем, один раз бешеную собаку застрелил. А что?

— Да так, товарищ Тришатный... Тут есть кое-какие соображения.

Составили протокол. Милиционер встал и шумно вздохнул.

— Придется гражданина Иванова задержать впредь до выяснения всех обстоятельств дела.

Наташа побледнела. Тришатный, опустив глаза, вертел дрожащими пальцами ключ от сарая.

Федька стоял спокойно, но губы его прыгали, как будто он хотел заплакать.

Афанасьев отвел милиционера в сторону и о чем-то с ним пошептался. Милиционер пожал плечами и обратился ко всем.

— Гражданин Афанасьев берет на поруки гражданина Иванова. Никто не возражает?

Николай Иваныч открыл было рот, но Наташа грозно поглядела на него, и он промолчал.

— Куда же мне деть этого гражданина? Оставить его вам? — неуверенно спросил милиционер.

— Ну, ясно, как день, он останется здесь! Куда же ему деваться?

Наташа взглядом поблагодарила дядю. Милиционер ушел.

ОПЯТЬ ЧЕЛОВЕК В КЕПКЕ.

Раздался стук в дверь. Наташа и Афанасьев вышли в переднюю.

— Кто там?

Чей-то робкий голос спросил:

— Здесь сейчас находится комиссар ВВА, товарищ Афанасьев. Мне хотелось бы с ним поговорить. Я сотрудник Минской газеты. С ним, надеюсь, ничего не случилось дурного? Я слышал выстрел...

— Дай, я сам с ним поговорю, — заворчал Афанасьев. — Тоже журналист! Ведь знают, что для всякой болтовни у меня есть приемные часы в кабинете. Лезут ночью, почему зря.

Он заорал в замочную скважину:

— Меня нет сейчас! Я занят делом! Я болен! Я умер, и для всяких пустяков воскресаю от пяти до шести, по вторникам и пятницам. Всего хорошего!

— Товарищ Афанасьев, — запротестовал слабый голос за дверью.

— Знаю, что я Афанасьев. Можете идти, меня вы не увидите. Прощайте!

ГЛАВА IV.

СЪЕЗД ДРУЗЕЙ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА.

Синее стекло. Подъезд. Хлопающие мотоциклетки, рычащие и бесшумные, как совы, авто. Душное тепло вестибюля.

Дом Союзов. Представители прессы, в числе которых Пайонк.

Тришатного нет, — он на свидании.

Доклады. Награждение Афанасьева Орденом Красного Знамени. Афанасьев предлагает план разработки нового аэродрома. Чертежи остались в его служебном кабинете, в общежитии ВВА.

Афанасьев отводит в сторону своего друга, красвоенлета и инструктора Юргенса, просит его поехать в ВВА за чертежами.

Мимо затерявшегося в толпе на лестнице Пайонка, Юргенс выходит из Дома Союзов.

Пайонк, тщетно пытавшийся добиться интервью от Афанасьева, идет за ним.

Юргенс садится в автомобиль комиссара ВВА.

ГЛАВА V.

В ДОЖДЛИВУЮ НОЧЬ.

ТАИНСТВЕННЫЙ КРИК.

Шурша по мокрому гравию, автомобиль вонзился в темный лабиринт Петровского парка. Была ночь. Накрапывал дождь. С деревьев в лицо Юргенсу летели холодные брызги. На поворотах сучья цеплялись о брезентовую покрышку. Низко, над самым кузовом висело туманное, унылое пятно — луна, закрытая облаками. Юргенс плотнее закутался в шинель. Он думал о своей школе, о ее будущем. Он думал о новой стальной птице, которую создал комиссар школы Афанасьев. Это была покорная, исполнительная, осторожная птица, при первом признаке серьезного пожара выбрасывающая своих пассажиров на волю под опекой парашютов.

Он вспомнил, как однажды, охваченный пламенем, он пытался снизить-ся. Только выдержка и самопожертвование механика спасли его от ужасной смерти. Поджариваемый с двух сторон, он потерял сознание. Механик бросился на его место и докончил спуск. Нет ничего безжалостнее и страшнее огня на самолете, когда тут же находятся баки с бензином.

Стоп. Автомобиль остановился у длинного трехэтажного здания. Два-три освещенных окна отражались в лужах перед домом. Он был непривычно тих и темен. Все курсанты и служащие были на Съезде.

Дверь открыл Флегонтыч, старый, глухой швейцар ВВА.

— Здорово, Флегонтыч. Ночь-то какая сырая, иззяб.

— Здорово, милай. Никак, Афанасьев?

— Я за него, — весело отозвался Юргенс, погружаясь в темную дыру подъезда.

Юргенс шел бесконечным гулким коридором, всматриваясь в плохо освещенные номера на дверях. Вот, наконец, кабинеты комсостава. Он, по-свистывая, отпер дверь.

* * *

По пустому коридору разнесся крик ужаса и гнева.

А-а-а-а-а.

Глухой шум борьбы, стук, и снова дом погрузился в молчание...

ШОФЕР НЕ МОЖЕТ ЗАСНУТЬ.

Шофер сладко дремал, дожидаясь Юргенса. Один раз ему показалось, что он слышал сквозь сон странный, тяжелый и тупой стук. Но из теплой оленьей дохи было лень высовывать нос.

— Ишь, скамейку в саду на растопку сломали, — сонно подумал он.

Кто-то дотронулся до его рукава. Он скосил глаза. С лицом, мокрым от дождя, и с блуждающими глазами, в свете фонаря стоял перед ним Тришатный.

— Михаленко, не подвезете ли вы меня до дому? Вишь какая погода. До ниточки вымок.

— Дожидаюсь товарища Юргенса. Он тут в кабинет к Владимиру Плато-нычу зашел.

Изумление и тревога отразились на лице Тришатного:

— Юргенс? Не комиссар? Ну, я пойду, пожалуй... не стану дожидаться...

Он нырнул в темноту. Шофер усмехнулся.

— У Самарихи был... Боится, что жена узнает... Ну-ну.

Он снова задремал. Со стороны аэродрома кто-то приближался к дому с фонарем. С другой стороны, наперерез фонарю бежала темная фигура, шлепая по намокшей глине. Оба, и сторож с фонарем, и другой — подошли к автомобилю одновременно.

— Тут был какой-то шум, ты не слышал, браток? — спросил сторож.

Другой был тщедушным маленьким существом в рваных, хлюпающих ботинках, с кепкой, повисшей на одном ухе.

Он был похож на облезлого, больного щенка, и казалось, вот-вот он встряхнется как щенок, и от него фонтаном полетят брызги, — до того он вымок.

Лицо его было перекошено от ужаса, глаза чуть не выпадали из орбит.

— Там — в саду... я видел... Из окна кто-то упал... Здесь сейчас должен находиться Афанасьев. Я знаю, что это он упал. — Какое несчастье, какое несчастье...

— Что такое! Кто упал?

Шофер соскочил на землю. Сторож поднял фонарь, освещая лицо взволнованного Пайонка.

Тот чуть не плакал. Очки его замутились от дождя.

— Я ожидал в саду, за углом... Хотел поговорить с ним. Наша газета мне платит за это... Я слышал, как хрустнула его шея... Он мертв... мертв!..

Сторож, шофер и Пайонк кинулись в сад, храбро шагая по лужам. Фонарь дрожал в руках сторожа. Дождь струями стекал по стеклу. Желтое пятно прыгало по темным кустам и по лужам.

ТРУП ПОД ОКНОМ.

— Здесь!

На мокрой куче щебня, у стены, лицом вниз лежало неподвижно распростертое тело. Шея была неестественно подвернута. Одна рука закинута за спину.



Пайонк истерически заплакал...

— Нужно позвать кого-нибудь, — сказал сторож.

— Подождите!

Шофер приподнял голову трупа и повернул ее лицом к свету. На щеке у мертвого лежал прибитый дождем большой черный паук.

— Юргенс, — воскликнул шофер. — Я так и думал!

Ему ответил дикий крик журналиста.

— Юргенс! Боже мой, боже мой, такой молодой...

— Без истерик, — строго сказал Михаленко. — Ты, дедушка, постереги тут, а я мигом слетаю за Шварцем. Он в этих вещах понимает больше нас... Они были друзьями... Тут дело темное... Шварц все распутает... Откуда он выпал? Из какого окна?

Он осветил фонарем стену.

На третьем этаже, в распахнутом настежь окне горел слабый свет. Зеленая занавеска колыхалась от ветра.

— Оттуда, с третьего этажа, — горько плача, указал журналист.

— Вы, гражданин, — обратился к нему шофер, — идите-ка, скажите Флегонтычу, швейцару, чтобы он никого не выпускал из дому. Я мигом смоюсь на машине...

ГЛАВА VI.

«ЧЬЕ ЭТО ОКНО?»

Ночь так же шумела дождем и деревьями, сторож стоял над трупом, дрожа от сырости и страха. Пайонк, не менее дрожащий, еще вел тревожные переговоры с Флегонтычем, когда, перечеркивая ночь лучом рефлектора, фыркая, как дикая кошка, мотор влетел во двор.

Шварц и шофер выскочили из него и побежали к дому, переговариваясь на ходу.

— Кто входил сюда за последние два часа? — спросил Шварц Флегонтыча.

— Да никого, батюшка, окромя Юргенса. Все курсанты разошлись, а в канцелярии и кабинетах и подавно никого нет.

— Чьи же окна освещены?

— Да может, кто больной лежит или электричество, уходя, забыли потушить.

Флегонтыча повели в сад.

— Чье это окно? — спросил его Шварц.

— Это? Это, кажись, Козлова.

Шварц, шофер и журналист направились в дом.

КОБРА ИЛИ ТИГР?

Они подошли к двери Козлова. В замочной скважине торчал ключ. В комнате было тихо. Они осторожно, на цыпочках вошли.

Сначала им показалось, что в комнате никого нет. Вдруг странный вибрирующий звук заставил их насторожиться.

Звук напоминал трель пастушьего рожка или змеиный свист. Через минуту он сменился грозным рычанием. Им стало не по себе.

Но вот рычание прекратилось. Шварц шагнул вперед и знаком подозвал к себе остальных.

В широком кресле у письменного стола, скорчившись в три погибели, лежала чья-то неподвижная фигура. Лицо было прикрыто носовым платком. Все трое с ужасом переглянулись. У всех троих мелькнула страшная мысль:

«Убит!».

Несколько секунд прошло в напряженном молчании. Шварц протянул руку, чтобы снять с лица убитого платок. Вдруг новый страшный звук заставил его отскочить.

Платок шевельнулся, точно от ветра, и медленно сполз на кресло.

Открылось изуродованное лицо Козлова. Глаза его были закрыты. Он мирно пожевал губами и снова оглушительно захрапел.

Шварц яростно потряс его за плечи. Козлов открыл глаза.

— В чем дело? — заспанным голосом спросил он.

Шварц напустился на него.

— Видели вы Юргенса?

— Нет. А что? Разве он должен быть здесь? Который теперь час? Не опоздать бы на съезд!

— Вы и так опоздали, — сердито сказал Шварц. — Сейчас час ночи.

— А...

— У вас никто не был?.. Что вы делали все время?

— По-видимому, спал. Не задавайте мне сразу так много вопросов. У меня спросонок голова кружится. Что-нибудь случилось?

— Случилось то, что Юргенс умер.

— Что?

Козлов вскочил, как ужаленный.

— Вы шутите!

— Хороши шутки. Юргенс помер. Он свалился из окна и сломал себе шею.

— Ужасно! Где же это случилось?

— Под вашим окном. Он мог упасть отсюда.

— Не может быть! Я бы проснулся!

— Гм... не думаю. Мы стояли в вашей комнате четверть часа, вы и не подумали проснуться.

— Из-за такого храпа землетрясения не заметишь, — ехидно вставил шофер.

— Как бы то ни было, мне нужно осмотреть вашу комнату, товарищ.

Осмотр ни к чему не привел. Шварц стоял в раздумье.

— Кто живет под вами? — спросил он Козлова,

— Никто. Там деловой кабинет комиссара.

НЕСЧАСТЬЕ ИЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?

Сошли вниз. С первого взгляда стало ясно, что кто-то недавно тут побывал. Дверь в кабинет была полуоткрыта.

Они вошли.

Вспыхнуло электричество. На стуле, посреди комнаты лежал брошенный впопыхах шарф. Окно было распахнуто настежь. Шварц внимательно исследовал подоконник.

— Как плохо здесь убирают, — проворчал он. — Всюду паутина, дохлые пауки, пыль... Вот еще паук... Дождем пришибло...

— Что это?

Он замолчал, нагнувшись над подоконником, спиной к спутникам. Потом стремительно выпрямился.

— По-видимому, Юргенса испугало что-нибудь, он высунулся из окна и по неосторожности выпал. Или голова закружилась. Все объясняется очень просто. Намеренно напугать его никто не мог, потому что, — он выглянул в окно, — невозможно без лестницы взобраться на такую высоту. Одни мухи и пауки могут карабкаться по гладкой стене. Произошло несчастье, а не преступление.

ГЛАВА VII.

«АФАНАСЬЕВ Н-И».

ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ПЕРВЕНЕЦ.

Прозрачный воздух звенел, как хрусталь. Солнце еще лежало на горизонте, покойно и снисходительно поглядывая на веселую толпу курсантов. Огромная стрекоза, распластавшая крылья на аэродроме, отливала серебром и, казалось, дышала полной грудью, радуясь своей молодости и свежести майского утра.

Скоро воздух подымет ее на широких мускулистых крыльях, и она снова глотнет синевы — первый раз после долгого заточения в мастерских и ангарах.

Афанасьев, до краев переполненный торжественной радостью, стоял у аппарата, нежно поглаживая выпуклое крыло.

Урывками, обкрадывая свои ночи, ловя минуты между двумя заседаниями, он конструировал свою птицу.

Партийная работа была для Афанасьева высоким долгом, а эта прекрасная птица — любимым ребенком, которому он дарил свой ночной досуг и отцовскую нежность, накопленную в его одинокой, холостой жизни.

Сейчас в суровых глазах Афанасьева, в уголках всегда стиснутых губ, пряталась тайная улыбка.

Труд его, утомительный, но радостный, увенчался победой. Аппарат летал прекрасно. Помимо новизны самой конструкции, в самолете «Афанасьев Н-1» было усовершенствованное приспособление, автоматически выбрасывающее пилота и пассажиров во время аварии. Сегодня предполагалось новое испытание его на фигурные полеты.

Никому не мог Афанасьев уступить первого пробного полета на этом аппарате.

ХРАБРЫЙ ЗАВТЕХ.

Над ангаром подняли красный флаг — запрещение полетов.

К самолетам, ожидавшим своей очереди, подбежали механики, чтобы увести их в ангары.

Курсанты заворчали.

— Завтех сошел с ума. Небо чисто как ладошка.

— Это он муху принял за тучу.

— Или чихнул, и ему показалось, что это гром.

Комиссар увидел флаг и грозно нахмурился.

— Кто сегодня дежурный по аэродрому? — спросил он механика.

— Флаг поднят по распоряжению не дежурного, а заведующего технической частью, товарищ комиссар.

Афанасьев направился к племяннику.

— Что это значит? Не могло быть лучшей погоды для полетов!

— Юргенс, — начал было струсивший Тришатный, но Афанасьев перебил его.

— Что же! Ты, кажется, желаешь, чтобы весь воздушный флот Республики прекратил свою деятельность, потому что один человек свалился из окна и сломал себе шею?

— Я не это хотел сказать, — истерично крикнул Николай Иванович. — Всякий опытный человек подтвердит, что на сегодня нужно ждать дурной погоды... Вид сегодняшнего неба...

— А что же ты находишь в нем дурного? Может быть оно чересчур силене? Или чересчур высоко? Или земля недостаточно мягка?

— Метеорологическая станция...

— К черту! Когда гроза действительно будет на носу — тогда могут прекратиться занятия, а теперь...

Подошел начальник аэродрома.

— Распорядитесь спустить красный флаг, — обратился к нему комиссар,
— полеты сегодня состоятся.

— Ты думал, вероятно, — обернулся он к племяннику, что тебя сегодня заставят участвовать в пробном полете. Вот, трус!

* * *

Тришатный подошел к самолетам. Он небрежно осматривал корпуса и несущие поверхности. У «Афанасьева Н-1» он на минуту задержался, потрогал троссы, скрепы и заглянул в кабину. После осмотра он, понурившись, подошел к жене.

— Конструкция нового самолета, по-моему, неудачна. Я не хотел бы на нем лететь, — кисло сказал он.

Все это утро он суетился, помогая выводить «Афанасьева Н-1» из ангара.

Ему доставляло болезненное удовольствие купаться в лучах дядиной славы, но завистливая тоска грызла его малокровную душонку.

РОЖДЕННЫЙ ПОЛЗАТЬ.

Курсанты обменивались впечатлениями.

— Хороша птичка, товарищи!

— Гордая.

— Наш комиссар всем иностранцам нос утрет. Орел, а не комиссар!

— Воздух-то, ребята! Огурчик с медом.

— А вот и журналисты появились... Видишь, вон там шагают трое.

— Гляди-ка, Петров, малыш в дождевике разыгрывает из себя знатока.

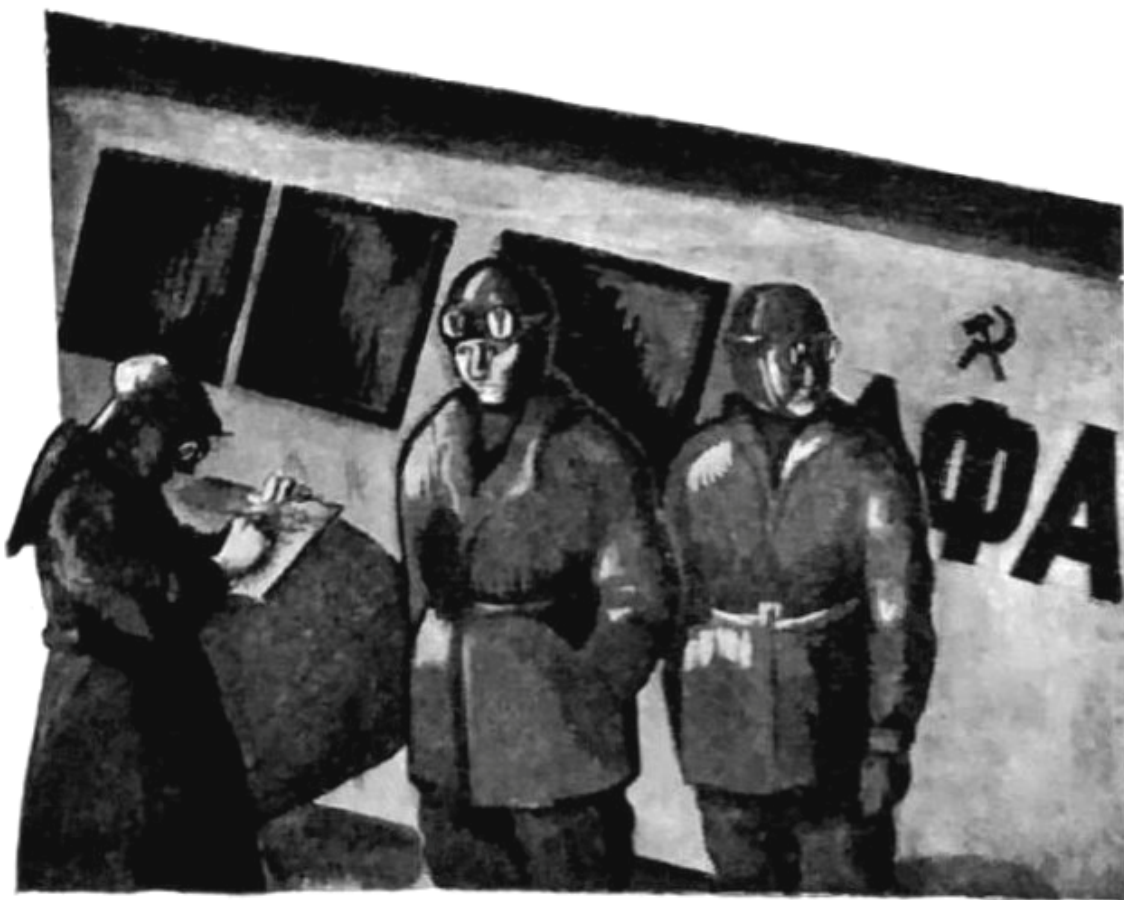
Всюду свой нос сует.

К новому самолету подошел моторист. Через несколько минут мощно заревел мотор. Винт отбросил назад струю ветра, срывавшую шапки с курсантов, стоявших вблизи.

Это была проба мотора.

— Этого крошку унесет ветром, как моль. Он еле держится на ногах, — сказал, смеясь, один из курсантов.

Пайонк, попав в струю вихря, уцепился за стабилизатор и судорожно держался за него. Его потрепанный дождевичок поднялся над его головой, как крылья бабочки.



Вид у него в эту минуту был очень несчастный. Сделав невероятное усилие, он как-то приподнялся на руках, а ноги заболтались в воздухе. Он раскачался, как маятник, и легко прыгнул в сторону.

— Сильные руки у этого малого, — заметил курсант.

— Ну, такое тощее тело поднять не трудно, — сказал второй, — а вот ноги у него быстрые, прибавил он. — Смотри, как улепetyвает! Чуть очки не потерял...

Пайонк, действительно, был очень напуган. Он тяжело дышал и держался за сердце. Чего только не требует от репортера газета!..

* * *

Козлов возбужденно и радостно благодарил Афанасьева. Ему было разрешено участвовать в фигурных полетах нового самолета, да еще вместе с самим комиссаром. Вот это счастье, так счастье!

Он бросился за своим шлемом и чуть не сбил с ног какого-то человека. На него в упор поглядели грустные, робкие глаза под круглыми очками.

— А вы опять тут как тут! — воскликнул Козлов. — Что за неугомонное существо!

— Вы... вы тоже летите? — заикаясь, спросило неугомонное существо. — И вы не боитесь? Может быть, маленькая неисправность... и тогда...

Козлов только усмехнулся в ответ...

* * *

В стороне стояли Наташа Тришатная, Федька и Шварц. Федька так и не мог закрыть рта, открывшегося при виде диковинной птицы. Покровительство комиссара помогло ему пройти на аэродром и даже осмотреть вблизи новый самолет. Он с тайным восторгом похлопал по его серым глянцеви-тым бокам, долго в упоении рассматривал машину, и с лица его не сходило выражение восхищения, смешанного с испугом.

ОРЛЫ.

Через полчаса все было готово к старту.

— Может быть, все-таки вам дать летчика, — спросил Афанасьева заведующий аэродромом. — Вы так много работаете и должны сильно уставать.

— Не надо мне никого. Со мной летит Козлов, управлять буду я сам. Я чувствую себя совершенно бодрым. Разве у меня больной вид?

Он напряг свои железные руки, не знавшие усталости. Чувство страха было ему незнакомо. Опасностей для него не существовало.

Курсанты с восхищением глядели на его высокую, сильную фигуру. Такого комиссара поискать... Комиссар, который не бросает летной практики и конструирует, как первоклассный инженер. Гордость не только ВВА, но и всей Республики.

Афанасьев и Козлов уселись на свои места.

— Управление проверено? — спросил Афанасьев.

— Все в порядке, товарищ комиссар... Но, если вы хотите...

— О, нет, я вполне полагаюсь на ваши глаза, — небрежным тоном ответил комиссар.

Он никогда, если это было не нужно, не терял времени на подобного рода осмотры, предоставляя делать их механикам. Так было и на этот раз.

— Контакт?

— Есть контакт.

Пропеллер рванул и бешено закрутился.

Упоительный запах горелой касторки и бензина дохнул в лицо Афана-сьеву.

Подняв хвост, самолет скользнул по земле, подставляя грудь студеному, крепкому воздуху. Мотор его торжествующе запел, приветствуя распахнувшийся навстречу небесный простор.

Минута, и он взмыл над аэродромом.

Здрав головы, все следили его ровный и чистый полет.

Как короткие молнии, поблескивали его троссы. Косой, желтый луч ползал по стальному брюху. Самолет петлил, штопорил, виражил, со страстью отдаваясь весеннему утру. Он ложился на бок, и крылья его вспыхивали серебром, сверлил воздух, как игла, переходя в пике.

Во время одной из фигур, когда он пропланировал метров пятьсот, развалившись на спине, как ленивая кошка, Тришатный, закрыв лицо руками и втянув голову в плечи, быстро пошел к ангарам. Его спина согнулась, как будто в ожидании удара.

Федька зажмурился. Даже опытные инструкторы тревожно переглянулись.

Самолет нырнул, выпрямился и отскочил метров на триста вверх.

Он летел в небо горками, скача как упрямый кенгуру.

— Э-эх, не подведи!

Уверенный полет успокоил всех. Вот, с грациозной и гордой стремительностью «Афанасьев Н-1» пошел на снижение. 3.000. 2500. 2200.

РАНЕНАЯ ПТИЦА.

— О...о...о...о!

Все замерли. Там, наверху, в приветливой весенней синеве, дергалась в агонии серебряная птица. Она то отражала солнце, как зеркало, то потухала. Предсмертная лихорадка трепала ее крепкое тело.

Вот аппарат качнулся, клюнул носом и больше уже не смог выправиться. Затем он лег на одно крыло, затем на другое, и опять начал круто идти вниз.

Самолет потерял управление.

Раздался зловещный крик с наблюдательного пункта.

Авария была так очевидна, что самые хладнокровные растерялись.

— Руль глубины не действует, — раздался крик из толпы взволнованных курсантов. — Милый, бодрись!

— Еще можно сделать что-нибудь с помощью руля направления... Если его удастся положить на бок, что пилот теперь пытается сделать, то его вер-

тикальный руль перейдет в горизонтальный, и с грехом пополам выполнит его роль.

Еще минуты две самолет дергался, стараясь сохранить равновесие, планируя в боковом положении. Он еще раз неуклюже перевернулся на другой бок, продолжая опускаться, но в эту минуту, на глазах обезумевших зрителей крылья его сложились над корпусом, как крылья отдыхающей стрекозы, и он камнем рванулся вниз.

Но раньше, чем еще крылья сложились, из корпуса самолета, раскрывшегося как опрокинутый сундук, вылетели две черные фигуры. Вздых ужаса облетел аэродром.

Но вот над падающими открылся зонт парашюта, ветер рванул его в сторону, и в это время мимо с ревом пролетела вниз искалеченная птица. Последовал страшный удар о землю.

Над самолетом взметнулось пламя. Часть присутствовавших на аэродроме бросилась к пылающему самолету, остальные, затаив дыхание, следили за двумя «черными пауками», плавно опускавшимися на землю.

Уже можно было различить лица. Козлов улыбался.

Бешенство искажало лицо Афанасьева.

Над самой поверхностью земли парашюты автоматически отцепились, и две фигуры легко прыгнули на землю.

МЕРТВЫЙ ПЕРВЕНЕЦ.

— Троссы, черта с два!.. Все было в порядке... Ах, мерзавцы! — в дикой ярости думал Афанасьев, стоя над пылающими обломками. Спасти самолет было невозможно. Так, в какие-нибудь полчаса погибли труды бесконечных ночей, подкрепленных порошками пирамидона, ночей, проведенных в мастерской и над чертежами. Сколько времени и средств отнимет новый «Афанасьев Н-1». И это уже не будет первенец, с трепетной любовью построенный собственными руками.

Афанасьев внимательно исследовал жалкий скелет самолета. На все тревожные вопросы он отвечал одно:

— Сам виноват, плохой материал... Скверные троссы...

Самые настойчивые пугались его яростного тона и отступались от него.

ЧТО ДУМАЛ ФЕДЬКА.

Когда самолет судорожно дергался в вышине, Наташа, бледная, без кро-

винки в лице, но спокойная, стояла не двигаясь, и только в последнюю минуту зажмурилась.

Федька жадно следил за катастрофой.

Он не раз наблюдал смерть вблизи, но это было страшнее всего, что ему пришлось увидеть за свою буйную жизнь. Мешочник, перерезанный пополам поездом, убитый наповал в драке товарищ, поножовщина в Ермаковке, — это были детские игрушки рядом с такой гибелью, трагический пафос которой был понятен даже его звериной душе.

Он не мог оторвать глаз от серебряного силуэта, точно в ознобе трящегося в чистой синеве.

Несмотря на все потрясение, нехорошая, цепкая мысль не покидала его:

«Почему шурин отказался от полета? Почему не он полетел вместо Козлова? Ведь еще вчера сестра уговаривала мужа восстановить свой пошатнувшийся в ВВА авторитет, предложив Афанасьеву принять участие в полетах. И он тогда согласился. Кто мог подумать, что он струсит в последнюю минуту?!»

СЛАБЫЕ НЕРВЫ.

Недалеко от него бился в истерике Иосиф Пайонк. Он с неописуемым ужасом следил за аварией. В горле клокотало рыдание. Робкие, добродушные глаза извергали потоки слез, туманивших круглые стекла очков.

Авария длилась минуты четыре, и за это время он успел испытать все муки ада и чистилища. Когда самолет ринулся вниз, он с визгом упал на землю, ломая пальцы о твердый грунт. На губах его показалась пена, и глаза закатились.

В это время парашюты распустились в воздухе, как черные опрокинутые маки. Иосиф Пайонк не видел их. Он уткнулся носом в землю, дрожа от ужаса. Летчики спустились на землю, а он все лежал мешком, не смея поднять головы.

— Вставайте, товарищ, — участливо потрогал его за плечо один из курсантов, тронутый его неподдельным отчаянием. — Все благополучно; летчики спаслись. С такими нервами вам нельзя работать для газеты. Мало ли что бывает!

Тело Пайонка задрожало мелкой дрожью.

— Припадочный, — с легкой брезгливостью подумал курсант.

Пайонк, смертельно бледный, встал. Он больше не плакал. Он снял очки, чтобы вытереть стекла.

— У меня так же вот погиб лучший друг, — пробормотал он сдавленным голосом... — Лучший друг. Самое близкое существо.

Он помолчал и тихо добавил:

— Мой лучший друг, летчик. Он погиб при таких же обстоятельствах...

НАДРЕЗЫ НА ТРОССАХ.

Афанасьев отвел в сторону Козлова:

— Вы не догадываетесь?

— О чем?

— Троссы были подрезаны. Очень острыми щипцами была надрезана проволока. Достаточно было самого незначительного перенапряжения, чтобы тросс порвался.

— О! Еще одно покушение! Это становится странным.

— По некоторым причинам это никому не должно быть известно. Я сам постарался уничтожить следы надреза. Никому не говорите о том, что я вам сказал.

— Понимаю, товарищ комиссар.

— Прошу вас, проверьте состояние других самолетов лично. Если нигде не окажется других повреждений, значит, это покушение действительно было направлено лично против меня. Прислушайтесь к разговорам среди курсантов. Вы пользуетесь среди них доверием и любовью, и ваша любознательность не покажется подозрительной. Я лично склонен думать, что преступник не из среды летчиков, но на всякий случай — нужно искать следы.

— Слушаюсь, товарищ комиссар.

— Вы не знаете, где сейчас мой племянник?

ГОРЕ-ЛЕТЧИК.

Козлов и Афанасьев с трудом нашли Тришатного. Он сидел на корточках, на цементном полу ангара, с головой, закутанный в парусиновый чехол одного из моторов. Когда Афанасьев положил ему руку на плечо, он весь задрожал, как осиновый лист, а когда он назвал его по имени, — закричал так громко и так испуганно, что комиссар отшатнулся от него.

— Что это за комедия? — сердито сказал он. — Что за неуместное поведение!?

Глаза Тришатного блуждали.

— Не трогайте меня, не трогайте. Я падаю, — в диком ужасе закричал он, прижимаясь лицом к холодному цементному полу. — Никто не может

заставить меня полететь и погибнуть так же, как погибнете вы. Я не желаю умирать!.. Я знал, знал, что это случится. Не трогайте меня!



Афанасьев нахмурился.

— Ничтожество! Жалкий трус! Здесь не детский сад, — прохрипел он в бешенстве. — Здесь тебе не место! И так уж на тебя все пальцами показывают.

— И этот человек служил в Красной армии! — с горечью прибавил он. — Идем, Козлов. Я подвезу вас в город на автомобиле, если вам надо.

Они ушли из ангара. Афанасьев пошептался с Иеронимом Шварцем, попрощался с Наташей и Федей и сел в ожидавший его автомобиль вместе с Козловым.

ГЛАВА VIII.

«ПАУЧИХА».

БЫЛА ТАКАЯ ЖЕ ВЕСНА.

Некоторое время они ехали молча.

Негодование на свое бессилие душило Афанасьева.

Он вспомнил, как два года тому назад он очутился в липкой, душной паутине, сотканной черным пауком, и как он навсегда вырвал слабость из своего сердца, когда душил хрупкое горло.

Тогда он узнал своего врага, и стальными пальцами разорвал паутину. Чутье и опыт человека, всю свою жизнь окруженного опасностями, подсказывали ему, что и сейчас существует враг так близко от него, что он почти физически ощущает его присутствие. Но враг этот неуловим.

— Николай трус, он не решится на преступление, — мрачно думал комиссар, перебирая в памяти события последних недель, — кто же? Федя?.. — нет, конечно, нет...

— Что вы про все это думаете? — обратился он к Козлову, пыхтевшему «басмой».

— Про покушения?

— Да.

— Они связаны между собой и направлены против вас. Эта мысль часто

приходит мне в голову, но все это так неопределенно. Может быть, случай... совпадение. Не знаю. Но все-таки.

— Я расскажу вам, Козлов, как такие же совпадения навели меня однажды на след шпиона. Вы бывали на юге два года тому назад?

— Нет, тогда я лежал в госпитале.

— А, да — так вот, слушайте. Дело было в Н. Хорошее это было время. Я был моложе. Была такая же вот весна. Акации и всякие такие штуки...

Вокруг кипело, строилось. Верстах в двадцати от города сформировалась школа летчиков. Я был комиссаром, а начальником школы — старый летчик, Подгорский. По праздникам наша братва ездила в город, в кино, в театр, в цирк. Там мы познакомились с одной изумительной красавицей. Это была актриса, милая, веселая. Остроумная. Мы все ее любили. Подгорский был моим другом. Вместе мы летали, вместе в тифу валялись. Он был стойким коммунистом и добрым товарищем...

Так вот, скрипел он все, скрипел, ворчал, ворчал, глядеть на эту женщину не хотел и вдруг, точно чума его сразила, почернел даже весь. Приходит ко мне, говорит:

— Женюсь. Люблю ее. Она милая, Володя.

Правда, она была мила. Но, жена-красавица, да еще циркачка!..

Козлов насторожился. Его ужасное лицо побледнело под шрамом.

— Скажите, тов. Афанасьев, вот вы знали цирковых актеров... Не встречались ли вам одна женщина-акробатка... У нее было такое лицо, что вы не могли не обратить на нее внимания, если только ее видели. Она была не русская... Кажется, венгерка — точно не знаю...

Он умолк, задохнувшись от волнения.

— Как ее звали?

— Фамилии не знаю. Имя — Жермена... Была известна под псевдонимом «Черный Паук».

Афанасьев не ответил. Он смотрел перед собой пустыми глазами. Губы были сжаты.

«О, ЖЕРМЕНА!»

— ...Черный паук, — уныло протянул Козлов и задумался. Перед его насторожившейся памятью потекли дни горячие, пламенные, сумбурные. Работа в РКСМ, авто-броневая школа. Вечерние занятия. И за целым рядом автомобильных поворотов, за углом Тверской, за закопченной дверью общежития — пылающее подобие страсти и тайны. Ночи — длинней прощальных вздохов... Как он помнит все это... О, Жермена!..

— Я знал ее, — добавил Афанасьев сухо. — Она расстреляна два года то-

му назад.

— Как, расстреляна? «Черный Паук» расстреляна!?

Козлов с диким ужасом глядел на него, глотая воздух, как рыба, выброшенная на песок.

— Я расстрелял ее, — повторил Афанасьев... — Про нее я вам и рассказываю. Слушайте же дальше.

«БРОДЯЧАЯ ЖИЗНЬ МНЕ НАДОЕЛА».

— Влюбился в нее Подгорский. Вижу — пропадает парень почему зря. Какая же она ему жена? Из-за нее и все летчики в школе передерутся. Это то же, что бомбу в костер спрятать. Я, значит, повел против нее подкоп. Поговорил с братвой. Поругались, но все-таки в город ездить перестали. Однажды встречает меня Жермена на улице и говорит так грустно:

— Почему вы меня невзлюбили, Володя. Я так одинока. Бродячая жизнь мне надоела... Мне хорошо со всеми вами и, право же, я неплохой товарищ. Помогите мне стать честным, полезным гражданином.

Что греха таить? Сам я был немного влюблен...

Актрисы-буржуазки, — туфельки лаковые, губки красные, — такие женщины меня никогда не привлекали. Но, друг Козлов, эта женщина была неотразимо обаятельна, и, к тому же, по-настоящему умна. Да что уж...

Я раскис, пожалел ее... Словом, долго ли, коротко ли, переехала она к нам в школу. У Подгорского с ней любовь да согласие.

Прошло месяца три. «Черный Паук» принимала участие в общественной жизни школы, училась, помогала всем, чем могла. В нашем шахматном кружке считалась лучшей шахматисткой.

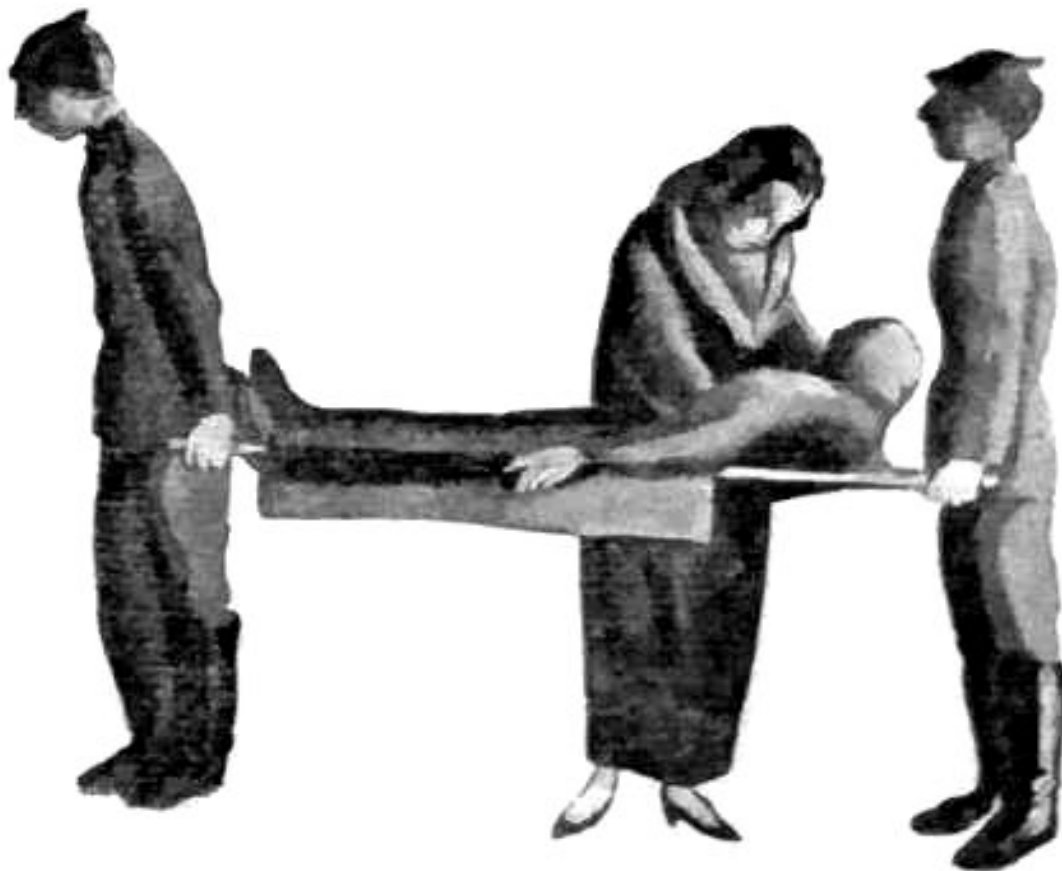


АВАРИИ.

И вот — участились у нас аварии. То один разбивается, то другой... Все

говорят: — такая полоса пошла, ничего не поделаешь. Я и сам так думал. Тщательно проверяли состояние аппаратов и здоровье летчиков, но аварии не прекращались. Однажды чуть было не раскрылась вся махинация.

Инструктор Лури ухитрился упасть с двух тысяч метров, однако еще дышал, когда к нему подбежали. Жермена была потрясена. Глаза ее блуждали, она вся дрожала от сдерживаемых рыданий. Она была очень дружна с Лури, и его гибель была для нас страшным ударом. И вот, когда она подошла к носилкам и склонилась над изуродованным телом — инструктор открыл глаза и... если бы вы видели, Козлов, его лицо в ту минуту!



Все решили, что он кончается. Только у меня тогда мелькнула мысль, что в этой предсмертной гримасе не физическая боль, а дикая ненависть и угроза.

Я подавил эту мысль, уж очень она была нелепа. За что он мог ненавидеть «Черного Паука»? — С Жерменой его связывала тесная дружба, и ей он выказывал знаки самой нежной преданности.

Жермена вздрогнула и закрыла лицо руками.

Я думаю, это была единственная минута слабости за всю ее богатую событиями жизнь, по крайней мере, никогда больше я ее такой не видал, даже во время расстрела.

Лури царапал ногтями холщовую обивку носилок и шевелил губами: он силился что-то сказать. Санитары остановились на минуту. В его горле хлопотала кровь, мешая говорить. Я прижался ухом к самым его губам. Он сделал отчаянное усилие и еле слышно шепнул только одно слово. Из горла хлынула кровь, глаза скосились, нащупывая лицо медленно отступающей Жермены.

Знаете, что он сказал?

— Паучиха...

Только потом я понял, какой смысл он вложил в это слово. Но в то время меня как нож ранила жалость к нему, к его любви, которую он выдал в своем предсмертном хрипе.

Он умер через пять минут.

Прошел месяц. Прилетели к нам из Москвы гости на «Юнкерсе». В то время немецкий «Юнкерс» был у нас редкой птицей. Из этого посещения мы сделали настоящее событие. Гости были — ответственные партийные работники из центра: зампредчека, товарищ Наркомпочтеля и представитель РВС в Одесском округе. Жермена моментально подружилась с летчиком немцем — Шпет. Она бывала на его родине, в Верхней Силезии, и даже знавала какого-то кузнеца — двоюродного дядю летчика.

ЖЕРМЕНА ЕДЕТ В ГОРОД.

Собственно, они не в гости к нам приехали. Зампредчека летел в Н с важными инструкциями из центра и документами, изобличающими крупного экономического шпиона на юге.

Вечером мы устроили совещание в квартире начальника школы. Жермена ушла в свою комнату. Говорили до полуночи. Утром был назначен старт. Настроение у нас было подавленное. За этот месяц погибли два инструктора и один курсант. Это уже принимало размеры стихийного бедствия, но мы не знали, как бороться с ним. Среди курсантов начиналась паника, и нужно было много выдержки, чтобы подавить ее с самого начала.

Была создана специальная комиссия для проверки наших учебных аппаратов, — но все они оказались в полном порядке и были признаны вполне пригодными для полетов.

Мы посоветовались с товарищами из центра, и было решено, что начальник школы отправится вместе с нами в Н для доклада командующему воздушными силами юга. Мы уже пожелали друг другу спокойной ночи,

когда из комнаты Жермены донеслись крики.

Подгорский побледнел и бросился туда. Мы остановились в недоумении.

Через пять минут, очень смущенный, Подгорский шепнул мне, что же не его дурно и что ее немедленно нужно отправить в город, к врачу.

— У нас же есть свои врачи, — удивленно сказал я.

Он помялся и потом, отведя меня в сторону, сообщил, что жена скрыла от него свою беременность, и сейчас у нее начинается что-то неладное, как будто выкидыш, я уж не знаю, что-то в этом роде, и ей необходимо обратиться к специалисту.

Город был от нас верстах в двадцати, автомобилем час езды, дороги хорошие.

Я успокоил его. Сам отвезти Жермену он не мог: нужно было успеть за ночь приготовить материалы для доклада, а в шесть утра был назначен старт.

Жермена наотрез отказалась от какой бы то ни было помощи и твердо заявила, что поедет одна, без спутников. Боли прекратились, но по ее измученному лицу было видно, что она боится их повторения.

Подгорский посадил ее в автомобиль, шоферу были даны инструкции, гудок рывкнул, и она уехала.

Рано утром, когда «Юнкерса» уже выводили из ангара, Жермена вернулась. Подгорский с нетерпением поджидал ее, и с такой любовью заглянул в ее осунувшееся личико, что, ей-богу, мне стало обидно, что я никого так не любил. Тогда же я подумал, что нельзя так крепко привязываться к недостойной женщине.

Она успокоила мужа, сказала, что ошиблась: у нее были просто боли в кишечнике, и все обстоит благополучно.

Да, забыл вам сказать, что шофер с ней не вернулся, и она сама правила автомобилем. По ее словам, он сошел в степи, чтобы зайти на минуту на хутор к больной матери, и она сама предложила ему остаться там до утра...

* * *

С какой-то суеверной настойчивостью заставила Жермена механика еще раз осмотреть аппарат, и сама приняла в этом горячее участие; положила в кабине цветы и виноград и, прощаясь, с особенной нежностью обняла мужа.

ПАУТИНА.

Надо вам сказать, товарищ, что мое предположение, что все в школе передерутся из-за этой обаятельной женщины, не оправдалось. Многие вздыхали по ней, но она держала себя так осторожно и тактично, предотвращая всякие эксцессы, что я совершенно успокоился на этот счет.

Один из курсантов, славный мальчик, комсомолец Мухин, был от Жермены без памяти. Нужно было видеть, как он смотрел на нее, как бродил за ней унылой тенью, чтобы понять, в какой прочной паутине он запутался. Мы смотрели на это сквозь пальцы, хотя обычно боролись с подобными явлениями в своей среде. Жермена с неподражаемым искусством сдерживала его влюбленность и не давала ему воли.

В этот день я случайно услышал их разговор.

В полдень, когда у нас полетов не бывает, я забрел на старую каменоломню на берегу моря. Вскрабавшись на вершину холма, я увидел их внизу, на камнях. Меня поразила ее поза. Она положила ему руки на плечи и пытливо смотрела в глаза. Отогнав неприятное чувство, я направился к ним. Вдруг ветер донес до меня ее слова:

— Да, да, я клянусь тебе, но подожди еще немного. Предположи, что мне грозит большая опасность. Пошел бы ты за меня на смерть, если бы я этого потребовала?..

Я остановился, как вкопанный, пораженный ее странным тоном. Из-под ног моих скатился щебень. Они обернулись. Жермена медленно сняла свою руку с его плеча и усмехнулась.

Лицо Мухина еще хранило следы волнения и сосредоточенной страсти.

Козлов застонал, вцепившись пальцами в кожаное сиденье.

Афанасьев искоса взглянул на него и спокойно продолжал:

— Мы пошли домой. У самого дома собралась большая толпа. Навстречу мне выбежал завхоз и, страшно взволнованный, оттащил меня в сторону.

— Шпет угробился, какой ужас! Бедная Жермена! — Афанасьев замолчал и закурил папиросу.

ГИБЕЛЬ «ЮНКЕРСА».

Дело было так. Летели они спокойным манером, не очень высоко, так метров на 800 над степью.

В это время на хуторе выгоняли скот.

Мальчишка-пастушок глазел на самолет и вдруг, как он рассказывал по-

том, увидел белое облачко над крылом самолета. Он закричал.

В степь высыпало все население хутора.

«Юнкерс» замотался, завихлялся, перешел в штопор, потом в пике и, охваченный пламенем, врезался носом в землю.

Когда из-под обломков извлекли трупы, они были обуглены, как голловни. Мясо дымилось. На Шпете еще сохранился кусок сапога, все остальное превратилось в уголь.

Подгорскому все-таки посчастливилось. Он выбросился из самолета метров за 8-10 от земли, и хотя тоже разбился насмерть, но не был так страшно изуродован, как остальные.

Пастушонка на лошади погнали в школу.

Нас всех, как громом, поразила эта весть. Сейчас же снарядилась печальная экспедиция на место катастрофы. Поистине, рок нас преследовал с упорной свирепостью.

Жермена не плакала. Она держалась мужественно и отправилась вместе с нами, хотя мы пытались ее удержать.

НЕУГОМОННЫЙ ЖУРНАЛИСТ.

Автомобиль остановился у дома, где жил Афанасьев.

— Зайди ко мне, друг Козлов. Я доскажу тебе эту историю. Тебе нужно ее знать, — серьезно и печально сказал Афанасьев.

Козлов молча пошел за ним. Они поднялись по лестнице. У дверей Афанасьевской квартиры их поджидал неугомонный журналист. Он робко мямл кепку в руках и жалобно глядел на комиссара.

— Товарищ Афанасьев, одно слово... Пожалуйста...

— Ну? — довольно неприветливо буркнул Афанасьев.

— По поводу аварии... Подозреваете вы кого-нибудь? Думаете ли вы, что покушения повторятся. Моя газета...

— Вы ошибаетесь, — сварливо прервал его Афанасьев. — Никакого покушения не было, и не могло быть. Простая случайность. Аппарат был не в порядке, вот и все. Такие случаи бывали, ну, и всего наилучшего! Оставьте меня в покое.

И он захлопнул дверь перед самым носом испуганного Пайонка.

УБИЙСТВО В СТЕПИ.

— Жермена не плакала. Она была мужественной и сильной женщиной.

За это я еще больше стал уважать ее.

По аппарату ничего нельзя было выяснить. Он совершенно обгорел, и вместе с ним сгорели все драгоценные документы из Москвы.

Тяжкое подозрение глухо бродило во мне. Я ничего не знал, но чувствовал, что тут дело не чисто. Я даже, собственно, ничего не предполагал и не мог объяснить своей странной тревоги, но она тайно зрела, как тяжелый горький плод. И я думал, стоя над останками погибших товарищей:

— Они молчат. Они ничего не скажут. И тайна их гибели никогда не раскроется.

Вот. Теперь дальше.

Дома нас ждала еще одна печальная новость. Шофера, отвозившего Жермену в город, нашли мертвым в степи. Горло его было перерезано чем-то вроде бритвы. Вызвали из города милицию и агентов Уголовного розыска МУР. Выяснилось, что мать шофера была здоровехонька, и в этот вечер преспокойно гнала самогон. Вот этот самогон и прельстил, вероятно, шофера, когда он отпросился у Жермены на хутор. Он был пьяницей и задирой, и легко могло быть, что его зарезали во время драки или из мести.

Во всяком случае, ни МУР, ни мы ничего не выяснили.

Афанасьев поймал на себе умоляющий, страдальческий взгляд Козлова. Этот взгляд молил не рассказывать ему того, о чем он уже догадывался.

Комиссар затянулся папиросой и продолжал:

— Вам надо знать это, милый Козлов. На ошибках мы учимся.

ТАЙНЫЕ ПОДОЗРЕНИЯ.

С этого самого времени я ходил, как чумной.

Я никак не мог оформить неопределенных подозрений, которые накапливались у меня в течение нескольких дней.

Все, до чего я додумался, сводилось к тому, что баки с бензином взорваться от неисправности в моторе не могли.

Конструкция «Юнкерса» совершенно исключает эту возможность. Герметически закрытые баки находятся в крыле, и раньше, чем огонь доберется до них, летчик благополучно спланирует. Особенно такой опытный летчик, как Шпет, имеющий два ордена Красного Знамени, три железных креста и еще что-то. Самое большее — штаны у пассажиров затлеют.

Отчего же случилась авария? Разрыв сердца? Обморок? Вряд ли. Очевидцы уверили меня, что над крылом «Юнкерса» показалось белое облачко. Это значит, что взорвался бак с бензином — но каким образом? Неужели случайная папироса?

Я ломал себе голову и не мог прийти ни к какому заключению. Жерме-

ну оставили в школе. В Москву было послано прошение о предоставлении ей персональной пенсии. К ней мы относились бережно и внимательно, из уважения к ее горю и в память военных и революционных заслуг Подгорского.

Боюсь, что многие из нас жалели больше ее, чем погибших товарищей.

ЭПИЗОД В РЕСТОРАНЕ.

Прошел еще один месяц. Наступили холода. Полеты должны были сократиться на зиму. Курсанты возвращались после полетов с носами синими, как сапфиры.



Однажды в городе я зашел в ресторан и, к моему изумлению, увидел там в углу Жермену в обществе какого-то человека, довольно потрепанного, но с претензией на дешевую элегантность. Ну, думаю, какой-нибудь товарищ по цирку! Она сидела ко мне спиной и о чем-то с увлечением говорила.

Я невольно следил за ними из-за развернутой газеты. Они говорили вполголоса, и из-за проклятых скрипок ничего нельзя было расслышать. Тогда я был в таком состоянии, что всякая таинственность возбуждала во мне острое любопытство.

Глядя на ее смуглый затылок, легкий овал щеки

и сухие, цепкие руки, я задумался.

— ... Черный паук... Почему она выбрала этот псевдоним? — думал я.

И вдруг глубокий смысл этих слов открылся мне в своей первоначальной сущности.

— Паук... Паук... Паучиха... хищное насекомое, плетущее паутину и вы-

сасывающее кровь из неосторожных жертв.

Я вспомнил Лури, но сейчас же мне стало стыдно перед собой за эти вероломные мысли.

Милая, честная, мужественная Жермена!

В это время, — я ясно это видел, — руки их встретились в ее муфте, лежащей на столе. Она незаметно вытащила оттуда какой-то небольшой сверток и спрятала его у себя на груди. Эта таинственность показалась мне странной, но снова я с негодованием отказался от своего любопытства. Какое право я имею вмешиваться в личную жизнь молодой женщины? Я ушел из ресторана, и до вечера бесцельно бродил по городу, отдавшись своим мыслям.

ПАУЧИХА.

В школе готовились к прощальным полетам перед зимним перерывом.

Накануне этого дня за ужином я взглянул в прозрачные синие глаза «Черного Паука» и как следует выругал себя за скверные мысли, хотя сам не смог бы объяснить себе, почему они скверные. Пришла ночь, светлая и студеная. Я не мог спать. Бессонница привела меня на аэродром. Тоска стучалась в виски. Сонно откликнулся часовой. Ангараы были заперты. Я прошел мимо них, и вдруг увидел узенькую полоску света в одной из дверей. Вот тебе и на!

Подкрался к ангарау. Дверь была не заперта, и внутри кто-то был. Тихий, таинственный треск, несшийся оттуда, показался мне оглушительнее грома. Я подождал несколько секунд. Треск не прекращался. Заглянув в щелку, я увидел только, как будто висящее в воздухе, белое крыло Авро, освещенное слабым колеблющимся светом.

— Кто-нибудь из летчиков чинит аппарат, — успокоил я себя и открыл дверь. И вдруг...

Афанасьев взглянул на Козлова. Тот сидел ни жив, ни мертв, и губы его были так же белы, как ощеренные в мучительной гримасе зубы.

Было жестоко рассказывать с такими подробностями о предательстве женщины, которую он, по- видимому, любит до сих пор.

Но это было необходимо, чтобы в дальнейшем закалить его в борьбе с женщиной и соблазном.

...И вдруг я увидел белый, чистый лоб под черными косами, синие испуганные глаза, блуждающие тени на прекрасном лице. Одним словом, передо мной была Жермена.

В ее руках были клещи и небольшой патрон. Она глядела на меня, не двигаясь с места.

Это было похоже на непоправимый, страшный сон. И вот, как будто мои затуманенные глаза кто-то протер, как помутневшее стекло, я увидел все то, чего раньше не замечал. Я увидел настоящего, живого, хищного черного паука.

— Что вы здесь делаете, Жермена? — спросил я.

Она не ответила. Она увидела по моему лицу, что мне все понятно.

— Что вы здесь делаете? — повторил я и шагнул в ангар, чувствуя, что у меня колени начинают дрожать от бешенства.

Все-таки она нашла в себе силы улыбнуться и ответила хриплым, незнакомым мне голосом:

— Мне не спалось. Я пришла проверить моторы к завтрашним полетам.

Я мог позвать часового и скрутить ее, как бешеную суку, и это было бы лучше всего, но ярость оглушила меня. Хотелось немедленно тут же избить, оскорбить, изувечить это чудовище.

Воспоминание о Подгорском остановило меня на мгновение. Вдруг она сказала совершенно спокойно:

— Что я делаю? Я делаю хорошенький гроб для одного моего приятеля.

Она цинично рассмеялась.

— Видите эту маленькую адскую машинку? Я положу ее вот сюда и завтра... фьють... Новая авария в Советской Школе. Работа чистая.

Ее тон парализовал меня.

— Вы шутите, Жермена!..

— Убийствами не шутят, — холодно и немного устало ответила она.

До сих пор не могу понять, почему она так быстро, без всякого сопротивления, открыла свои карты и не попыталась, как всегда, хитрить. Может быть, действительно, она устала от крови и предательства.

— Убийствами не шутят... — повторила она. — Что-ж! Поймана! Погибла. Моя игра проиграна, но я успела многое сделать для моих друзей.

— Гадина, гадина... — Она говорила правду, я это почувствовал.

Я схватил ее за горло. Перед самым моим лицом были обезумевшие глаза и нежный рот, из которого вырывался хриплый смех попеременно с отвратительными ругательствами.

— Из-за угла! Стерва! Шпионка! Убийца!

Я все сильнее сжимал ее горло. Но она ударила меня клещами по голове, я ослабил хватку и упал.

Она подскочила к дверям и свистнула. В ангар вбежал Мухин, который стал предателем из-за этой дряни. Я был оглушен и не мог позвать на помощь. В ушах звенело нестерпимо.

Черный Паук и Мухин взволнованно о чем-то переговаривались, стоя над мной.

— Убей его! — требовала она.

Но, по-видимому, на это его не хватило. Когда она занесла над моей го-

ловой тяжелые клещи, он схватил ее на руки и унес из ангара.



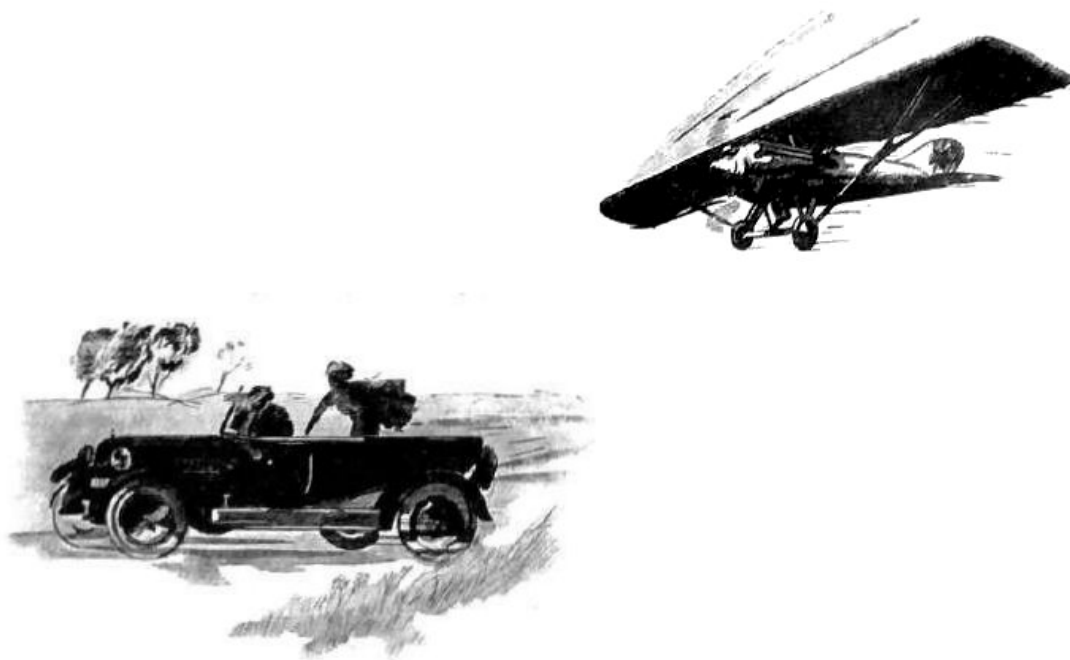
Вероятно, это был единственный случай, когда он сам проявил инициативу и не послушался ее.

Я потерял сознание и когда очнулся — уже брезжил рассвет.

В ПОГОНЮ.

Вся школа была поднята на ноги. Побежали к гаражу. Механик лежал с проломленным черепом, одного Фиата — самого быстроходного — не хватало, а камеры на остальных были проколоты. Они улизнули. Догнать их на лошадях было бы безнадежным делом. Вывели самолет. Со мной сел опытный летчик, и мы отправились в погоню.

Покружив над дремлющей степью, мы увидели в синем рассвете мчащийся Фиат.



Бешенство мое сменилось холодной яростью.

Мы пролетели над самым автомобилем. Мне удалось подстрелить сидящего за рулем Мухина.

Жермена тоже была ранена и потеряла сознание. Автомобиль остановился.

Мы с большими трудностями сели, исковеркав шасси и сделав неполный капот.

Летчик был ранен довольно сильно, я отделался ушибами.

Через пять минут Жермена была крепко-накрепко связана моим ремнем и ее собственным шарфом. Сначала мне хотелось искровянить это подлое, красивое лицо, вырвать ее проклятое паучье сердце, но потом благо-

разумие взяло верх. Она должна быть сдана на руки тем, кто имеет больше права ее судить, чем я.

Из кармана ее выпало письмо, написанное по-польски и, по-видимому, зашифрованное, потому что я ничего в нем не понял, хотя прилично знаю польский язык.

Мертвого Мухина я стащил за ноги с шоферского места и, будьте уверены, делал это не особенно почтительно.

Раненый летчик кое-как взгромоздился на Фиат, и мы погнали в школу.

СЕРДЦЕ ПАУЧИХИ.

Через две недели акробатка и танцовщица Жермена, по прозвищу «Черный Паук», польская шпионка и многократная убийца, была расстреляна, и в ее расстреле личное участие принимал и я.

До самого конца эта женщина верила в свое обаяние, пыталась соблазнить коменданта тюрьмы и легкомысленно шутила с красноармейцами, ведшими ее на расстрел.

Сообщников она не выдала, но по письмам ее, расшифрованным с большим трудом, удалось установить, что главным сотрудником ее в этом шпионаже был ее любовник, партнер по цирку, который успел скрыться.

Как она устраивала аварии?

Способов у нее было много. Одних она утомляла любовными, бессонными ночами, у других надрезывала крепления в самолетах, третьим давала перед полетом какое-то наркотическое средство и, наконец, подкладывала адские машины под баки с бензином.

Таким же образом она погубила своего мужа и еще четырех людей, прилетевших на «Юнкерсе». Она сама мне все рассказывала, с мельчайшими подробностями, и при этом смеялась невинным, звонким смехом. Это было чудовище с паучьим сердцем!

Только одного она мне не сказала, что она сделала с Лури и почему была так взволнована его гибелью. Но из писем ее, мне кажется, удалось установить истину. По-видимому, она любила его, и по ошибке испортила его самолет вместо того, который был намечен, и он, насколько я мог понять, посвященный в ее планы, только одного не смог ей простить — своей смерти.

Она собственными руками убила шофера, чтобы замести следы ее городских друзей, к которым она поехала за адской машиной в ту ночь.

Вот и все.

Афанасьев бросил давно потухшую папиросу и закрыл глаза. Козлов долго молчал.

Он был бледен, но в глазах его горел тот же огонь, который загорался в глазах Афанасьева, когда он говорил о Пауке.

Он откашлялся и, пересиливая свое волнение, сказал:

— Это была паучиха и сволочь... Ее нужно было пытать, прежде чем убить... Сколько людей она погубила... И это была единственная любовь в моей жизни!.. Мне казалось, что она тоже любит меня, но после того как... — он запнулся, — после того, как я вышел из госпиталя, я не хотел видеть ее, не хотел навязывать ей любовь урода. Убийца! Проклятая!

Афанасьев открыл глаза.

— Скажи, Козлов, — спросил он, опять переходя на ты, — ...твой парашют был назван «Черным Пауком» в ее честь?

Козлов вспыхнул.

— Да... Но я переменю...

— Не надо, пускай этот «Черный Паук» хоть немного исправит то зло, которое нанес нам другой «Черный Паук».

ГЛАВА IX.

ГОРЬКИЙ МИНДАЛЬ.

ПОЧЕМУ ПЛАКАЛА НАТАША.

Как всегда, в воскресенье Афанасьев пошел к племяннице. У нее были заплаканные глаза, а Николай Иванович ходил хмурый и злой.

— Ты опять что-нибудь натворил, Николай? — сурово спросил Афанасьев.
— Почему Наташа плакала?

Тришатный истерично закричал.

— Оставьте меня в покое, прошу вас... Ничего я не натворил. Просто выгнал этого пьяницу из моего дома!

— Кого?

— Жениного братца. Терпенье мое лопнуло! То носки пропадают, то папиросы улетучиваются. А неприятностей все прибавляется...

Афанасьев нахмурил брови.

Николай Иванович задергал плечом, швырнул портсигар на диван и высморкался.

— До слез доводите... Прикажете всякого бродягу с ложечки кормить! Ничего! Не пропадет, не маленький. Он, слава богу, не в таких переделках бывал... Ученого учить — только портить...

— Как тебе не стыдно!

В голосе комиссара послышалась угроза.

— Я подниму вопрос о тебе в Академии.

— О, господи, опять! — застонал Тришатный. — Чего вы все за него волнуетесь? — Вывернется! Вот он теперь с каким-то газетчиком путается: тот ему обещал место найти. Пускай к нему и обращается. Отстаньте от меня. — Он в сердцах вышел из комнаты.

Наташа нежно обняла мрачно задумавшегося комиссара.

— Дяденька, твое молоко тебя ждет... Выпьешь, голубчик? — Она принесла из кухни запотевший кувшин с молоком, студеным, как осенний ручей.

— Пей на здоровье, на льду стояло.

Афанасьев погладил племянницу по голове и поднес кружку к губам. Вдруг из нее прямо на его рукав выполз огромный, черный паучище.

Он прятался от жаркого дня в прохладной тени фаянса. Афанасьев вздрогнул и брезгливо стряхнул с себя насекомое.

Оно напомнило ему синеглазую, чернокосую паучиху, о которой он недавно рассказывал Козлову.

Заглянув в кувшин, — нет ли там еще паука, — он ощутил тонкий запах миндаля.

— Ты что это, Наташа, в молоко миндаль кладешь!

ВЕСНА В КУВШИНЕ.

Не успела Наташа ответить, как сердце его кольнуло страшное подозрение.

Он покачал с сомнением головой и снова понюхал. Из кувшина пахло весной и смертью.

— Ерунда, глупости ... подумал он...

— Что ты, дядя, молоко чистое, — обиженно сказала Наташа.

— Дай-ка я попробую.

Она схватила кувшин и поднесла его ко рту.

Сверкнуло белое, запотевшее доньшко.

— Брось! — дико закричал Афанасьев и выбил из ее рук кувшин.

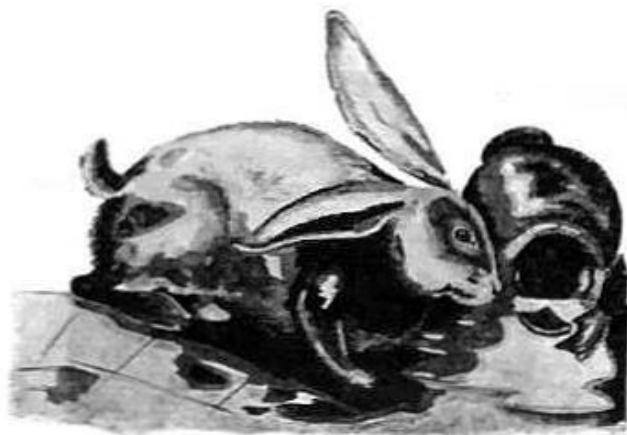
— Ты что! — испугалась Наташа.

— Яд, — ответил он, наклонившись над лужей молока. — А может быть, и не яд, но мог быть ядом! Интересно знать...

Он поглядел на Наташу и увидел, что широко раскрытые глаза ее со странным выражением обращены на что-то, находящееся сзади него на полу.

Он быстро обернулся.

За его сапогами, с краю молочной лужи, корчилось маленькое пушистое тельце.



Наташин любимец, беленький кролик попробовал отравленного молока. Его лапки судорожно скользили по луже, розовый стеклянный глаз быстро мутнел. Он вытянулся и замер. Афанасьев поднял его за нежные ушки, и он повис в его руках, как меховая горжетка.

Раздался заглушенный крик.

Афанасьев поднял голову. В дверях кухня стоял бледный Николай Иванович. Их взоры

встретились. Не спуская с него глаз, Афанасьев вытащил носовой платок и тщательно вытер пальцы.

Весенний, пасхальный запах кружил голову. Комиссар раздвинул на окнах занавески.

Николай Иванович забился в угол и там трясся, как молодая осинка.

— Я мог выпить молоко. Какой ужас!

«НА-ТА-ШЕНЬ-КА».

Наташа хотела посылать за милицией. Афанасьев удержал ее.

— Стоп, племянница! Никому ни слова. Так лучше. Чтобы ни одна собака не знала, что тут произошло. Проветри как следует комнату, а часа через три можешь вытереть пол... Синильная кислота к этому времени разложится. Скажи мне только, кто был на кухне за последний час.

— Никого, дядя... Я... да Коля.... и... да еще.... — она запнулась, — и... и... Федя. К нему еще кто-то приходил на пять минут, но человек совсем случайный.

Глаза ее наполнились слезами.

— Дядя! Мне кажется.... мне кажется... что это я виновата... моя оплошность... У меня давно лежала синильная кислота для фотографии... Вчера я, должно быть, по ошибке налила ее в кувшин. Ах, какая неосторожность!...

Афанасьев шепнул ей на ухо с подчеркнутой выразительностью:

— Ната-шень-ка! Какая такая синильная кислота для фотографии? Не бойся, я все понимаю и не причиню тебе горя. Слышишь, милая?

И он ушел, не взглянув на племянника.

ГЛАВА X.

НЕОБЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.

«ЭТО БОЛЬНАЯ, ПРОХОДИТЕ».

В пятницу вечером Афанасьев отдыхает. Каждый день он то на занятиях, то в клубе, то на партийных съездах...

Только в пятницу он идет домой, в свою скромную комнату, и отдыхает, работая над своей книгой о самолетостроении.

В эту пятницу он пришел домой усталый и взволнованный. В ушах еще звенело от жужжания пропеллеров, неистового рокотанья моторов, от непрерывного стука пишущих машинок в канцелярии, от весеннего гама на улицах.

А тут его обволакивала тишина. Вещи жили, дышали заодно с ним и требовали от него ежевечернего отчета. Он был как плод, зреющий в теплом чреве этой комнаты. Но, прижатые к телу, напряженные, детские локти и несчастное лицо...

Уже издали вспомнилось ему необычайное происшествие этого дня.

Собственно, ничего особенного и необычайного не произошло. Он возвращался домой после утомительной, шумной работы. На углу Малого Власьевского из автомобиля вышли двое. Лица их были тревожны и злы. Они грубо тащили в подъезд молоденькую девушку, с детским заплаканным личиком. Под наспех накинутым на плечи плащом Афанасьев увидел скрученные веревками кисти худых рук и острые обнаженные локотки.

Девушка выглядела такой измученной и несчастной, что Афанасьев чуть не охнул от жалости. Она поглядела на него глазами, полными нестерпимой муки. Он остановился, как вкопанный. Молодой человек, заметив тягелое впечатление, произведенное на прохожего этой сценой, грубо сказал:

— Это больная. Проходите.

И они исчезли в подъезде.

ЗАПISKA, ПАХНУЩАЯ ФИАЛКАМИ.

Афанасьев все стоял, чего-то ожидая. Этот суровый и сильный человек

давно не испытывал такого волнения.

Вдруг к его ногам упала записка. На третьем этаже хлопнула форточка. Забравшись в подворотню, при слабом сумеречном свете он прочел ее.

«Я несчастна спасите меня они выдадут меня за сумасшедшую потому что я им мешаю если я сумасшедшая вы ничего не потеряете если же нет сделаете доброе дело боже вас сохрани присылать ко мне врачей или милицию они меня убьют ждите завтра ночью под окном я дам вам знать как вы смогли бы мне помочь они опять идут меня истязать помогите помо...»

Почерк был неровный, крупный, торопливый. Что-то трогательное и детское было в полном отсутствии знаков препинания. Видно было, что она очень торопилась, когда писала. На одну минуту его смутило то, что записка пахла фиалками.

Станет ли женщина, окруженная врагами, наспех, на клочке бумаги царапающая свое отчаянное послание, прислушивающаяся к шагам, — станет ли она думать о духах. Может быть, это просто мистификация или, что еще хуже, ловушка!

Наконец, непобедимая жалость взяла верх. Он поверил.

— Надо спасти ее, если возможно.

Афанасьев себя не узнавал. Твердый, суровый, осторожный, не имеющий других интересов, кроме партии и своей работы, он превратился в пылкого романтика и шел навстречу подозрительному приключению.

Что делать? Афанасьев стоял в раздумье. Благоразумие его испарялось, как дым. Страдающее лицо девушки произвело на него ошеломляющее впечатление, и он готов был немедленно ворваться в квартиру, где ее истязают.

— А что, если это повредит ей?

«БАРЫШНЯ ОПЯТЬ КРИЧАЛИ».

В это время в подворотне появился дворник.

Афанасьев обратился к нему:

— Послушайте, кто это сейчас подъехал на автомобиле к вашему дому? Девушка и два гражданина в сером?..

Дворник усмехнулся.

— Это, должно быть, на 20-го номера, с третьего этажа — Алферовы. Барышня больная, сумасшедшая то-ись, а господа — ейные братья. Они к нам недавно переехали. Небось, барышня опять кричали?

Афанасьев не ответил. Он круто повернулся и пошел домой, сжимая записку в руке.



Вот какие события камнем обрушились на комиссара и камнем легли на его сердце. Он лег спать, и ночью тысячу раз вставал и перечитывал таинственное послание...

На другой день, под вечер, мучимый сомнениями, он отправился на Малый Власьевский.

ВСТРЕЧА.

Дом, в котором жила девушка, был пятиэтажный, узкий, похожий на гроб. Афанасьев долго смотрел на него. Окна язвительно подмигивали ему. Подъезд скалил зубы в насмешливой улыбке.

Он решил навести справки в Домкоме о людях, живущих в квартире № 20. С этим решением он вошел в подъезд, ища на стене доску с номерами квартир. Вестибюль был темный, стекла в подъезде забиты наглухо досками. На потолке уныло горела пятисвечная лампочка. По обыкновению мос-

ковских лестниц, пахло кошками. Афанасьев шарил носом по стене, в тщетных поисках каких-нибудь указаний, где найти домком. Кто-то, шаркая ногами, спускался с лестницы. Афанасьев обернулся. Перед ним стоял... Тришатный...

КРАСИВАЯ... РЫЖАЯ...

Афанасьев остолбенел. Тришатный посмотрел на него в упор равнодушными рыбьими глазами.

— Здравствуй, дядя, — сказал он голосом, стертым, как старый пятак.

Афанасьев пришел в себя.

— Что ты здесь делаешь, Николай?

Николай Иванович криво усмехнулся.

Афанасьева поразил его вид. Он постарел на десять лет. Голос его звучал глухо и устало, а лицо было страшно, — такое тупое, равнодушное отчаяние было в нем.

— Где ты был? — повторил вопрос Афанасьев.

— Был в гостях, в двадцатом номере.

— В двадцатом? — Афанасьев раскрыл рот от удивления. Было чему удивляться.

— Да, у моей любовницы.

— Кто она такая? — быстро спросил Афанасьев.

— Проститутка, — равнодушно ответил Тришатный.

— Как ее фамилия?

— Баронесса Шталь. Если хочешь, пойди к ней. Интересная женщина. Не знаю фамилии, под которой она теперь живет. Все равно. В двадцатом номере только одна женщина. Третий этаж, налево. Она очень гостеприимна ...

Он усмехнулся,

— Прощай, дядя!

— Стой, — остановил его раздираемый яростью Афанасьев. — Как она выглядит?

Николай Иванович тупо поглядел на него, как будто не понял вопроса.

— Какое у нее лицо, волосы?..

— Обыкновенное. — вяло пожал плечами Тришатный. — Тебе понравится. Красивое, пожалуй. Рыжая. Мне все равно.

Он говорил сонным, монотонным голосом.

— У нее есть братья?

— Ах, ты про этих... Ну какие братья! Шпана. Коты. Прощай!

Он пошел к выходу, сторбившись, шаркая ногами.

Афанасьев, вне себя от изумления, следил за ним, пока он не скрылся в дверях.

— Что с ним случилось? — подумал он. — Точно мертвый.

Что за чудеса!

Он покраснел, вспомнив, как чуть не попался на удочку.

Пошлая мистификация! Развлекающаяся проститутка!

— Дурак... дурак... а еще партиец! Нет, уж больше этого не повторится.

Он плюнул и пошел в клуб.

* * *

В клубе его поймал Шварц.

— Мне очень нужно с вами поговорить, товарищ Афанасьев.

Они пошли в полутемную канцелярию.

О чем они там говорили, откроется через одну главу. — Но во всяком случае, по-видимому, военлет Афанасьев не отличался твердостью своих решений, потому что через полчаса, прощаясь с Шварцем, он сказал ему:

— Итак, сегодня ночью я на углу Малого Власьевского, против дома № 5.

ГЛАВА XI.

НОЧНОЕ СВИДАНИЕ.

Над крышами глухого переулка бежали слепые облака. Луна текла им навстречу, путаясь в их серых клочьях. Афанасьев нетерпеливо поглядывал на темные окна дома № 5.

Торжественно и гулко звучали шаги случайных прохожих. Спасские на Красной площади пробили три часа.

Он уже начинал жалеть, что пришел на это свидание.

Очевидно, он дал маху, и не произойдет того, чего он ожидал.

Недалеко от Афанасьева пропел петух, и вслед за этим одно из окон третьего этажа осветилось, хлопнула оконная рама, и женский голос тихо, но внятно произнес:

— Вы здесь?

Афанасьев откликнулся. Голос продолжал:

— Войдите в подъезд. Он не заперт. Дворник за углом, но он всегда спит. Спасибо вам, что пришли.

Окно захлопнулось. Афанасьев шмыгнул в подъезд. Электричество в вестибюле не горело. Было совсем темно. Только на лестнице брезжил слабый свет, проникающий из круглого окна на втором этаже.

Прошло минут пять. Афанасьев напряженно прислушивался. Вот — скрип двери и чье-то неровное дыхание...

Афанасьев прижался к стене, стараясь стать как можно более плоским. Кто-то осторожно продвигался вперед. Афанасьев уловил едва слышный шелест макинтоша.

В то же время со стороны лестницы послышались легкие осторожные шаги. В стекающем сверху слабом лунном свете показался тонкий, стройный силуэт.

Тот же женский голос опять спросил;

— Вы здесь?.. Я жду вас... Только, ради бога, тише! — Голос дрожал от волнения. — Мне удалось обмануть моих братьев и подобрать ключ от квартиры. Сейчас их нет дома... Подойдите ко мне.

Она чиркнула спичкой и, щурясь, стала всматриваться. Ее лицо в красных струях волос напоминало теперь лицо Медузы. Дрожащие тени бегали по нему. Спичка в руке дрожала. Она поддерживала на груди байковый халатик, одной ногой нащупывая ступеньку.

— Скорей, скорей, — шептала она... — Идите за мной. — Афанасьев искоса бросил взгляд в темные углы вестибюля. Свет спички не доходил до них. Одним ухом чутко прислушиваясь к шорохам за своей спиной, он сделал несколько шагов по направлению к девушке. Вдруг она круто повернулась к нему.

Вторая спичка догорала в ее руке, и она заговорила поспешно, как будто для того, чтобы успеть увидеть впечатление от своих слов на его лице.

— Знаете, почему я вас позвала? Вам нужно это знать, чтобы вы испытали такое же волнение, какое было у одного человека по вашей вине, вам нужно это знать для того, чтобы мы могли насладиться местью! Сейчас вы умрете. Вспомните «Черного Паука»!..

За спиной Афанасьева раздался злорадный смех, и чья-то темная фигура подскочила к нему с поднятой рукой.

В ту же минуту острый луч электрического фонаря перерезал темноту, осветив лицо... Осипа Пайонка.

От неожиданности он зажмурился, и нож выпал из его руки. Но это было еще не все.

Шесть человек бесшумно отделились от темной стены, направляя шесть револьверов на журналиста и женщину.

— Ни с места!

БЕГСТВО.

Афанасьев стоял, спокойно заложив руки в карманы. Расчет оказался верен. Шпион попался.

Но через секунду обстоятельства переменились.



Раньше, чем кто-нибудь мог сообразить, в чем дело, Пайонк ураганом налетел на Шварца, выбил у него из рук фонарь, который с грохотом разбился, и шмыгнув мимо растерявшихся агентов ГПУ, как крыса, зашуршал по лестнице.

Вслед ему засвистели пули.

Оставив агентов с женщиной у дверей, Шварц и Афанасьев бросились в погоню за шпионом. Они слышали выше этажом топот бегущих ног, свистящее дыхание и стреляли в темноту, наудачу.

Афанасьев вытащил на ходу свою зажигалку, но она не понадобилась. Здесь было достаточно светло от круглых окон на площадках, чтобы прицелиться в человека.

Они достигли верхней площадки и уперлись в чердачную дверь. Афанасьев нащупал висящий замок и выругался, но Шварц дернул дверь, она легко раскрылась... Одна замочная петля была сорвана.

Прямо перед ними, на другом конце чердака, мутно голубело слуховое окно.

На его фоне болтались две ноги. Шварц выстрелил. Мимо!

Афанасьев выстрелил. Мимо!

Ноги подтянулись кверху и исчезли.

Над их головой, как театральный гром, загрохотала крыша. Афанасьев добежал до окна, высунулся и тихо свистнул: влезть на крышу отсюда невыносимо. Дом был старый, давно не ремонтировался. Перед окном крыши вообще не было. Когда-то здесь был навес, но давно провалился, и жестяной лист повис над улицей.

Карабкаться наверх осмелился бы только акробат-профессионал.

Конечно, существует еще ход на крышу, но где его сейчас найти, а медлить нельзя.

— Живо, бегите вниз, — крикнул он Шварцу, — оцепите дом, пришлите сюда дворника и вызовите из какой-нибудь квартиры, где есть телефон, подмогу... Я остаюсь стеречь чердак.



* * *

В это самое время Осип Пайонк, зажмурившись, прыгнул на крышу соседнего трехэтажного дома. При падении он почувствовал острую боль в руке и застонал, но сейчас же, собрав всю силу воли, заставил себя поползти дальше. Он не должен был медлить...

Собственная жизнь была ему дороже и слаще самой сладкой мести.

Добравшись до чердака, он безуспешно пытался выломить плечом дверь на лестницу. Пришлось снова карабкаться на крышу.

Он заглянул вниз. Луна стремительно выплыла из груды облаков и осветила маленький дворик, к которому примыкал огороженный забором пустырь...

Журналист уцепился здоровой рукой за водосточную трубу. Мимо его ушей просвистела пуля...

Его преследователи бежали по направлению к нему по соседней крыше, выпуская в него заряд за зарядом. Сморщившись от нестерпимой боли, он спустился вниз по трубе. Через минуту он был уже по ту сторону забора, на пустыре, и сердце его бешено рвалось навстречу милой жизни.

А баронесса? Разве мог он жалеть кого-нибудь с тех пор, когда так трагически погиб «Черный Паук»!!?

* * *

Убедившись, что дальнейшее преследование бесполезно, Шварц и Афанасьев спустились в домком.

Шварц отвел в сторону Афанасьева и вполголоса сказал ему:

— Я должен извиниться перед вами, товарищ Афанасьев, что не смог сообщить вам об этом раньше — дело прежде всего. Сегодня, как раз перед моим уходом из дому, в 11 час. вечера застрелился Николай Иванович Тришатный.

Афанасьев подскочил... Он вспомнил, какое странное лицо было у племянника вчера вечером. Дыхание смерти чувствовалось на нем еще там, в вестибюле этого дома, где они так странно встретились; он был тогда уже мертв, хотя и не умер еще.

— Что за причина?

— В записке, найденной на его письменном столе, он сообщает, что заразился сифилисом от какой-то баронессы Шталь.

Афанасьев удивленно свистнул:

— Хотите видеть эту баронессу?

Шварц удивленно взглянул да него.

— Глядите, вот она.

Афанасьев указал на сутуло сидящую в углу, под охраной револьверов женщину — сообщницу Пайонка.

ГЛАВА XII.

О ЧЕМ ГОВОРИЛИ ШВАРЦ И АФАНАСЬЕВ.

Теперь читатель может узнать, о чем говорили Шварц и Афанасьев в клубе.

Разговор был такой:

— Я имею новость, которая вас очень обрадует, товарищ Афанасьев. Мы, наконец, нашли того, кого искали все эти дни — человека, который покушался на вашу жизнь.

— Я догадывался, кто это был... Кто-нибудь из друзей шпионки, которую я расстрелял? Я только недавно понял, что означали слова, слышанные мною в момент нападения в Петровском парке: «Черный Паук». Так звали эту шпионку. Но я не представляю себе...

— Сейчас я вам все объясню. Помните, в ту ночь, когда умер бедняга Юргенс, у него на шее лежал черный паук... Точно кто-то нарочно взял и положил его. — Но я тогда не понял и решил, что паук был прибит дождем.

Во время осмотра вашего кабинета на подоконнике я заметил еще трех огромных пауков. Это было уже странно... В кабинете комиссара ВВА, где ежедневно тщательно убирают, за ночь поселилось целое паучье семейство. Но это все-таки не возбудило бы во мне никаких подозрений, если бы я не заметил в лапках одного паука пушинки темной шерсти.

— Пушинка? — Я не понимаю, почему.

— А вот, погодите, сейчас вам будет все понятно. Пушинка темной шерсти. Такая маленькая, что вы с трудом могли бы ее рассмотреть. Такие пушинки часто бывают в карманах платья у неопрятных людей. Получилось такое впечатление, что кто-то, не очень аккуратно обращающийся со своим платьем, держал в своих карманах целую партию пауков и, по какой-то причине, оставлял их вроде визитной карточки. Я сопоставил это обстоятельство с тем, что вы мне рассказывали о нападении в Петровском парке и о словах, которые вы приняли за свой бред.

Не правда ли, странно? Это было похоже на какой-то тайный знак. Я человек опытный, и не раз в своей практике сталкивался с романтическими выходками преступников.

Я дал исследовать эти шерстинки у нас в лаборатории ГПУ. Платье, с которого были эти пушинки, было темно-синее, шевиотовое и не очень новое. Так мне сказали в химической лаборатории... Словом, это было платье не того человека, которого, помните, мы с вами подозревали, и не платье брата Натальи Аристарховны и не... Словом, это был кто-то другой. Я ломал себе голову.

Потом вспомнил, что журналист, бывший в ту ночь с нами, солгал, ука-

зав не на то окно, из которого упал Юргенс. Это раз. Во-вторых, я понял, что преступник убил Юргенса по ошибке вместо вас, и что это покушение из той же серии, что и предыдущие — конечно, Юргенс не упал из окна по неосторожности, а был сброшен с целью убийства — это два. И, наконец, точно молния меня озарила... Пайонк... Пайонк... Это, кажется, польское слово? Вы знаете польский язык, товарищ Афанасьев?

— Да, немного. Пайонк — слово польское и означает: паук... Но при чем тут это слово?

— Вот именно, при том самом! Фамилия журналиста — Пайонк. Паук. Ясно? Тогда мне показалось, что я понял. Кстати, Пайонк под своим неизменным дождевиком носит синий шевиотовый поношенный костюм.

— Вот в чем дело, — задумчиво сказал Афанасьев...

— Мы навели справки в Минске. Никакого Пайонка, сотрудника Минской газеты, там никогда не бывало.

В Москве установить его местожительство не удалось. Я потерял его из виду, но его следы привели в один дом на Малом Власьевском, где живет некая Алферова, проститутка, по-видимому, его любовница.

— Малый Власьевский? Алферова? Вот тебе и на! Прекрасно! Очень хорошо!

— Что вы хотите сказать, товарищ Афанасьев? Я соображаю очень медленно, надо вам сказать, но зато основательно.

— Я хочу сказать, что сегодня ночью я пойду на свидание с одной прекрасной дамой, — с грозной иронией над самим собой проговорил Афанасьев.

— Ну, и...

— И хочу просить вас сопровождать меня на это свидание.

— То-есть как?

— ...На это свидание, которое произойдет в полночь, на углу Малого Власьевского, у дома № 5.

И комиссар рассказал в подробностях свое романтическое приключение.

— Очевидно, этой ночью готовится новое покушение на вас с участием Пайонка, и мы можем его сцапать на месте преступления.

— Вот именно.

Они углубились в детальную разработку своего плана.

ГЛАВА XIII.

ВОРОБЬИНАЯ НОЧЬ.

В ПРОЛОМЕ КИТАЙСКОЙ СТЕНЫ.

Опять ночь, воробьиная, душная ночь. Ночь, самая страшная из всех ночей, в которые совершаются преступления. Она тяжело висит над Замоскворечьем, раздавливая человеческие души своей несказанной тяжестью.

В проломе Китайской стены — один из самых посещаемых клубов — клуб темной Москвы. По каждой щели тянет душной сыростью, человеческими испарениями, самогоном. Каждый кубический аршин этого великолепного помещения, как диванная подушка ватой, туго набит тошнотворными запахами и отвратительными ругательствами.

Те, кто не попадает в ночлежку или чувствует себя небезопасно на Хитровке, тянутся сюда. Это — самая спокойная «хаза»*. Даже «менты»** не рискуют сюда заходить. Кое-где — скошенное на сквозняке, маленькое пламя огарка, желтый огонек папироски. Когда вспыхивает далекая зарница, огоньки желтеют и блекнут. Гулкие ровные шаги, шаги честного обывателя, загоняют этих обитателей в самые отдаленные углы.

Тогда в темноте строят преступные замыслы, люди, насторожившись, готовятся к прыжку.

Шаги сворачивают в Замоскворечье, не доходя до пролома. Снова чиркает спичка, закуриваются папиросы. Из мрака на мгновение выступают небритые скулы, звериные глаза, цепкие, хищные руки.

Там, где горят огарки, идет игра. Мечутся «стирки»***. Ругань. Ругань. Ругань.

Недалеко от входа, слабо освещенные огоньком церковной свечечки, — две темные фигуры. Звенит бутылочное стекло. Булькает самогон.

Разговор вполголоса:

— Говорю тебе, никакой опасности. Вот — дай срок, закончу свои дела... К черту вашу паршивую Москву... разбогатеет мы с тобой...

— Н-не хочу, — мычит пьяный голос, — не хочу быть предателем рабочего класса... н-не хочу быть шпионом...

* Квартира (воровской жаргон).

** Милиционеры (воровской жаргон).

*** Карты (воровской жаргон).

— Дурак, никто тебе не предлагает быть шпионом... Будешь перевозить кокаин, чулки, спирт... Разно это предательство! Небось, сам пьешь? Опасности никакой! Без риску! Там у нас все организовано на ять. Давай сюда бутылку (буль-буль). Деньги будут такие, что тебе и не снилось. На, пей... О, матка боска, как мне все это опостылело (буль-буль). Согласен, что ли?

— Н-не хочу шпионом! А спирт — это можно... Ну, что-ж! Все одно — жизнь моя загублена. Несчастный я. Потянуло меня на вольный воздух, в чистоту, и вот снова на улицу выгнали (буль-буль). А воровать не буду, ни-ни. Кончено. Точка. Пронял меня комиссар этот, Афанасьев.

— О, Афанасьев! Жебы его перун сполил...*

Воробьиная ночь — верная сообщница. Она никому не выдаст. А сердце разрывается от желанья все рассказать — всю унылую повесть любви, ненависти, озлобления, предательства, страха...

БЕЗ МАСКИ.

— Слушай, друг, была у меня жена. Такая красавица, такая... Ты в жизни никогда такой не видел. Умная, породистая, злая. Моя жена, моя!.. Она так же, как я, ненавидела весь ваш этот красный сброд и была мне верной помощницей в моих делах. Когда-то я был богат, у меня все отняли и заставили по циркам скитаться. Они погубили нас, мы погубили их — ненавистное быдло... Ты не мычи! Ты слушай, пьяница. Что ты понимаешь в ненависти, огромной, как мир! (буль-буль). А, кроме того, мы деньги получали. Ого! Много денег... Долларами. Чистенькими.

Своей милой Польше служили. И вот, один человек поймал ее, мою жену, мою Жермену милую. О, Паук, Паук... Черный Паук. С тех пор я ненавижу его. Ненависть жжет меня, сушит, гложет! Вот тут жжет, понимаешь, вот тут, в груди... Только, видишь ли, Федор, — трус я. И мстить могу только тайком, из-за угла. Я не хочу умирать, я жить хочу! Выпей-ка еще. Вот так. Еще... Водка делает нас другими людьми. Я сейчас храбр, как сам Костюшко, и не побоялся бы вцепиться в эту глотку. Убью! — дико вскрикнул он.

— А когда я трезв, я трусливей канарейки. Единственная смелость, которую я себе позволяю, — ее имя — Пайонк. Я ношу его, как щит с девизом моей дамы... Как герб... Слышь, кохана, моя крулева?

— Ты не русский? — спросил пьяный голос.

* Чтоб его молния спалила (польск.).

— Не русский, хвала богу! Я — поляк. Муж «Черного Паука». Доктор прав и гимнаст по профессии — Пайонк, — прибавил он с пьяным бахвальством, — а теперь польский шпион... и мститель. погоди, не вставай! дай мне договорить. Храбрецы смеются над нами и презирают нас — предателей и трусов. А мы, тем временем, проводим их за нос, посылаем на смерть, уничтожаем и получаем еще за это денежки. Де-неж-ки!.. Кто же кого умнее, ну-ка?

И вот, моя умница, красавица жена, расстреляна, расстреляна, расстреляна, как бешеная собака. О, Черный Паук! Кохана...



— Ты, значит, шпион? — хрипло спросил починающий трезветь Федька.

— Ну да, шпион. Я же говорю тебе, — ответил Пайонк совершенно просто. — Что остается делать нам, трусам, не привыкшим к бедности, с белы-

ми панскими ручками? Сражаться мы не умеем. Да и заработать на фронте нечего. А тут — мы служим нашей великой родине и живем припеваючи, как порядочные люди. Нас много. Но я не только шпион. Подымай выше. Я — мститель. Черный Паук — мститель. Это звучит гордо. Да ты не кобенься... Послушай дальше, что было.

Захмелевший Федька грузно, с бессильным вздохом свалился со своего сиденья и уткнулся носом в сырую, вонючую глину. Слова Пайонка долетали до него из пылающего тумана.

— Польское правительство, в разведке которого моя жена была лучшим сотрудником, предложило убить расстрелявшего ее коммуниста летчика Афанасьева и выкрасть чертежи его самолета. Я в это время работал на границе... Пустяки... Мелкая работа. Контрабанда. Я вызвался поехать в Москву. Меня снабдили необходимыми документами, только фамилию мою я оставил. Это неосторожно, конечно, но я уже говорил тебе — почему я это сделал. Это — единственная моя гордость! Я попал в Москву, следил за Афанасьевым. Изучал авиацию. Я хотел, чтобы в последнюю минуту он знал, кто его убил, а для этого нужно было выждать удобного момента. Однажды мне показалось, что момент этот наступил. Это было в Петровском парке, в ночь, как тебя нашли в сарае. Я знал, что он пойдет домой пешком и следил за ним издали. Когда стало совсем темно, я подбежал и ударил его по голове. Это был хороший удар! Я наклонился и закричал ему в ухо: «Помни Черного Паука, дружище!» — Потом подошел этот проклятый урод, Козлов, помог ему подняться и, вообрази себе, эта живучая скотина встала и пошла себе, как ни в чем не бывало!..

От Козлова я узнал, что он пошел к племяннику и останется там ночевать. Увидев свет во втором этаже, я вбил в землю длинный шест, который нашел около дома, и вскарабкался по нему. Для акробата это сущие пустяки!

Я бросил сначала в комнату черного паука — это приносит мне счастье. (У меня их всегда целый запас.) Кроме того, мне хотелось его подстрелить так, чтобы он не сразу умер, увидел бы этого паука и вспомнил бы... Я выстрелил, соскочил на землю и спрятался в парке. И вдруг мне показалось, что я вижу его лицо в окне. А, черт! Неужели опять неудача, думаю! Выждал немного и зашел, под видом репортера, узнать, в чем дело. Так и есть! Он был живехонек!..

Недели две тому назад я попал на съезд ОДВФ. Афанасьев вышел из залы, я за ним. Он сел в свой автомобиль, я прицепился сзади. Мы подъехали к зданию ВВА. Швейцар назвал Афанасьева по имени, и тот откликнулся. Понимаешь, как все сложилось, черт бы их побрал! После этого я не мог сомневаться, что этот человек — действительно Афанасьев.

Я знал, где находится кабинет комиссара, и полез по стенке к его окну.

Федька хотел крикнуть, но не мог произнести ни звука. В окружавшем

его мраке он тщетно пытался понять, откуда доносился голос невидимого рассказчика, который то понижался до жуткого шепота, то звучал пронзительно и дико. В дальнем углу оборванцы играли в карты, и хриплые восклицания заглушали голос журналиста. Никому здесь не было дела до других. Здесь было все дозволено: воровство, убийство, предательство ...

— Только что я добрался до окна и заглянул в комнату — дверь кабинета отворилась, и он показался на пороге. Я видел только очертания его фигуры на фоне освещенного коридора.

Ночь была темная, дождливая, но он все-таки меня увидел и бросился к окну, как сумасшедший. Я пикнуть не успел, не то что выстрелить... До смерти перепугался! Даже сейчас дрожь пробирает. Я почувствовал на лице неровное, горячее дыхание его. Он хотел схватить меня, высунулся в окно, но не рассчитал своего движения, а тут я вцепился в него, что есть силы, и потянул вниз.

Он скувырнулся. Я услышал, как хрустнула его шея, ударившись о камни.

Я был страшно напуган, но дрожал от безумной радости. Со мной началась истерика. Я подошел к нему, к мертвому (он лежал лицом вниз), и тихонечко положил ему на щеку мертвого черного паука. Пусть моя жена видит «оттуда», что она отомщена. Ты понимаешь, брат, я белугой ревел от радости, а эти идиоты подумали, что я жалею его... Его!

И вдруг — удар. Ошибка. Это был не он — другой, только похожий на него.

ФЕДЬКА НАЧИНАЕТ СООБРАЖАТЬ.

Дрожащий от безумного бешенства голос Федьки прервал рассказ.

— Так это ты убил Юргенса, гадина, стерва, убийца! У, раздавлю тебя, подлый паучишко!..

Этот вор и бродяга был совершенно потрясен страшной повестью вероломств и убийств.

— Брось! Сядь. Ты еще не то узнаешь! Это я перерезал троссы на самолете в то воскресенье. И тут этот дьявол вывернулся! Мне не везло...

От тебя я узнал привычки Афанасьева, знал, что он каждое воскресенье бывает у Тришатного, и твоя сестра держит специально для него кувшин со сливками. Покуда ты ругался с шурином, когда он тебя выгонял, я вылил в кувшин яд.

Что там произошло — я не знаю, но Афанасьев и на этот раз спасся.

Федька замер от ужаса, представив себе, что отравленное молоко могли выпить сестра или Афанасьев.

Он хотел встать и не смог, пошарил рукой по земле, нащупал бутылку с

остатками самогона и залпом опорожнил ее.

— Проклятый паук, — бормотал он, но не мог подняться.

Не обращая внимания на это бормотанье, Пайонк продолжал, все больше и больше волнуясь.

— Наконец, я придумал ловкую штуку. У жены была подруга, баронесса, которая в тяжелые годы революции танцевала на эстрадах, а потом перешла в цирк. Эта баронесса и моя жена знали друг друга еще до революции, учились обе в одном католическом монастыре, в Бретани. Это была хорошая женщина — настоящая аристократка, которую разорили проклятые большевики. По их милости она сделалась проституткой. Она уже два года мстит им — заражает сифилисом и совращает самых видных и стойких коммунистов. Что ж! Так им и надо.

Так вот. Она должна была заманить этого дьявола, Афанасьева, к себе, дворник был нами подкуплен, и ночью, на лестнице, я всадил бы ему нож в спину.

Я мечтал плюнуть ему в лицо, когда он будет подыхать у моих ног, напомнить ему о «Черном Пауке»! Вот наслаждение!..

Афанасьев на свиданье явился, но, — тут Пайонк разразился страшным проклятьем, — сам сатана впутался в это дело. Откуда он мог все пронюхать — ума не приложу! Я сам еле спасся. Опять неудача!

— Но я все-таки убью его... убью, убью, — лихорадочно повторял он. — Клянусь сердцем Жермены, я перегрызу ему горло, я выпущу ему кишки, я вырву его бесчеловечное сердце!.. И всю жизнь мою я отдам на борьбу с ненавистными большевиками, буду убивать их из-за угла... доберусь до вашего Калинина...

— Мразь! — заорал Федька. — Мразь! Предатель! Гидра проклятая — белогвардейская сволочь!

«СКАЖИТЕ ТОВАРИЩУ АФАНАСЬЕВУ...»

Федька совсем протрезвел.

Его крик привлек внимание шпаны. Некоторые продолжали играть, равнодушно прислушиваясь к ссоре, другие подошли поближе.

— Так его... Жарь!.. Бей!.. Пришей очкастого!.. Лови!..

Пайонк побежал вдоль Китайской стоны. Зарницы гнались за ним, не давая ему спрятаться.

Мальчишки улюлюкали вслед. Человеческая свора почуяла запах крови.

Федька, пошатываясь и спотыкаясь, кинулся за ним. Журналист зацепился руками за выступающий из стены кирпич, подтянулся на мускулах и, как муха, полез наверх. Щебень и обломки кирпича с шуршаньем сры-

вались из-под его ног. Федька карабкался за ним, прислушиваясь к треску ломаемых камней. Слабый свет фонаря у дома, напротив стены, освещал их. Но этот фонарь вдруг потух, и все погрузилось в темноту, вспоротую лезвием зарницы.

Внезапно Федька разразился угрожающим смехом.

В этой темной страшной ночи он нашел источник безумной храбрости и освежающего гнева.

Пайонк стал злейшим его врагом, потому что он был врагом Афана-сьева и тех, кто был с Афанасьевым, врагом Федькиного класса и Советской России.

И Федькины руки сжимались в кулаки от веселого бешенства.

Эту, внезапно пробудившуюся в нем силу, почувствовал в его смехе Пайонк.

— Не убивай меня, не убивай! — пронзительно закричал он.

Откуда раздавался этот голос? Сверху? Снизу? Ничего нельзя было раз-зобрать.

Какой-то бродяга предупредительно засветил карманный фонарик. Две тени, карабкавшиеся по стене, были похожи на зловещих пауков.

Вот они уже забрались на стену.

Сюда доходил слабый свет фонарей со стороны площади. Пайонк бежал по самому краю стены, втянув голову в плечи. Внизу продолжали улю-люкать. Кто-то тщетно пытался взобраться за ними на стену.

С пьяной бессознательной ловкостью бывший юнга, Федор Иванов, перескакивал по расшатанным кирпичам, размахивая руками и шумно дыша.

— Зекс! — крикнули снизу.

Пайонк подпрыгнул от ужаса. Опять милиция! А тут еще этот пьяный хам...

Он круто обернулся к своему преследователю, оскалив мелкие, как у хо-рька, зубы, и как-то странно изогнулся.

Через мгновение Федька замотался на краю стены, как петрушка, ши-роко взмахнул руками и с диким криком полетел вниз.

Шпана разбежалась: приближался обход. Милиционеры нашли Федьку уже в агонии, с ножевой раной на плече, у самой шеи.

Милиционер нагнулся над ним:

— Поножовщина! Ранен в состоянии опьянения; должно быть, на «про-ломе», — сказал он. — Сейчас кончится.

Федька скосил на него глаза и закричал:

— Скаа... скажите товарищу Афанасьеву, что газетчик Пайонк... гади-на... шпион... Убил Юнгера... меня ... тоже, не хочу быть катра... катрабан-дистом... Я за советскую...

Он смолк и вытянулся.



— Готов, — равнодушно сказал милиционер, не разобравший предсмертного бормотанья вора и бродяги Федора Иванова.

ГЛАВА XIV.

ТРАГЕДИЯ.

ИСПАНО-СЮИЗА. 180 СИЛ.

Скользя по мокрому тротуару, падая и снова вскакивая, Пайонк крался вдоль улицы. Перед ним бежала, размахивая руками, его тень.

Он бредил и иногда ловил себя на том, что повторял вслух бесчисленное чи-

сло раз одну фразу:

— Испано-Сюиза... сто восемьдесят сил... Испано-Сюиза сто восемьдесят сил...

Он закрывал тогда ледяной ладонью рот и до боли прикусывал губу, чтобы сдержать озноб и не бредить вслух. Тогда раскаленное дыхание прожигало ему ладонь насквозь. Слезы, вызываемые жаром, скатывались по круглым стеклам очков, как весенний дождь.

Пайонк очень хорошо знал, что с ним такое.

Пребывание в притонах, куда загнал его страх перед арестом, для всех может окончиться трагически. Для него оно окончилось самым настоящим сыпняком, о котором уже успела забыть оправившаяся от девятнадцатого года Москва.

— Испано-Сюиза... сто восемьдесят сил... Испано-Сюиза... сто восемьдесят сил...

Луна качалась за его затылком, и он ощущал соприкосновение к влажным от пота волосам.

— Где я потерял кепку?.. где я потерял кепку?.. где я? — бессмысленно повторял он, отстукивая зубами марш.

— Не забыть: книгу по моторостроению, по самолетостроению, чертежи «Афанасьева Н-1» и для меня, для меня... Что для меня?.. Ах, да!.. ее письма... Почему он держит ее письма?.. Ее письма...

* * *

Этой ночью должна была закончиться страшная цепь его преступлений. Этот раз враг не уйдет...

Он еще был здоров, когда, шаг за шагом, готовил для этой последней ночи.

Переодетый монтером, он пробрался на квартиру Афанасьева и снял слепок со всех замков, в дверях и в шкафу. Убить его тогда он не захотел. Квартира битком набита жильцами, его сдапают и расстреляют... Нет, это не годилось! Тогда его изобретательность напряглась до последней степени. Он вызвал подложной телеграммой одного жильца — старшего бухгалтера — к больной жене в Харьков; другому нашел комнату на лучших условиях.

Один из жильцов вовремя догадался заболеть и лечь в больницу, а самого упрямого он выманил в Оршу письмами, напечатанными на машинке, на бланке большого госучреждения, с предложением места с хорошим окладом.

Осталась старуха-служанка и десятилетняя дочь бухгалтера.

Ну, с этим он справится...

Так рассуждал он, когда был еще здоров. Теперь он шел, толкаемый ненавистью и алчностью, но мысли его сошли с привычных рельс.

Лунатики ходят по карнизам и крышам и не падают. Его бредовое состояние обостряло инстинкт и бессознательное равновесие. Он открыл свой чемоданчик.

Вот вход от парадного хода. Вот ключ от комнаты Афанасьева. Вот ключ от его кабинета. Все на месте. Отмычки для письменного стола, флакон с хлороформом, стилет... бутылка с... Испано-Сюиза... сто восемьдесят сил... Испано-Сюиза... сто восемьдесят сил...

ОТМЫЧКА И ХЛОРОФОРМ.

— Вам к кому? — спрашивает швейцариха, открывшая ему дверь.

Уже три часа ночи, у посетителя странный вид и нет головного убора.

— Испано-Сю...

Он взял себя в руки, отчетливо и спокойно сказал:

— Я врач. Меня вызвал по телефону из 24 номера Владимир Платонович Афанасьев. Ему очень плохо, и я тороплюсь.

Он решительно прошел мимо женщины, сунув ей в руку монету.

По лестнице он шел, не торопясь и не останавливаясь. Когда внизу хлопнула дверь в швейцарскую, он вложил дрожащими пальцами ключ в американский замок. Легкий нажим... Дверь пропускает его без возражений... Красные стены маленькой передней стремительно бегут мимо него, слегка наклонившись вперед. Он инстинктивно хватается за стол и трясет головой. Стены становятся на свое место. Он одевает войлочные подметки и пробирается коридором.

Стоп. Вот она!

Комната, наполненная враждебными шорохами и запахами, втягивает его в себя.

Эта комната, где спит и ест товарищ Афанасьев, иначе, — на языке до-революционных квартир, — спальня, столовая, будуар и гостиная. В углу ширмы. За ними постель. На постели «он».

Пайонк трет виски, прикладывая холодный ключ к пылающему лбу.

Луна льется широко полной в венецианское окно. Белый луч углом ложится на жесткую, плохо выбритую щеку спящего.

Нет, он не убьет его сейчас. Он устроит ему иллюминацию на прощание! А пока — спи! Прыжок. Шум борьбы. Сладковатый и тлетворный запах хлороформа. Готово!

Теперь за дело. Он входит в кабинет и презрительно усмехается. Не умеют

эти люди жить! И это называется частный кабинет комиссара ВВА, конструктора и прославленного летчика. Это — комната работника среднего достатка, занятого компилятивным трудом. Много книг... бумаги... словари...

Через пять минут в чемодане все, что надо, кроме... кроме... писем. Вот чертежи, заметки, дневники, а писем, ее писем — нет.

Он лихорадочно роется в бумагах, перетряхивает книги...

— Я брежу, — шепчет он, — с чего я взял, что у него есть письма моей жены? Ты не должен думать о письмах... Ты не должен думать о письмах, — несколько раз повторяет он. — Писем никаких нет!

ДЕВОЧКА.

В комнату легкий стук. Пайонк сжимается в комок. Нежный детский голосок нерешительно спрашивает:

— Дядя Володя, вы не спите? Дядя Володя!

Пайонк тихо крадется к двери. Эта девчонка погубит все его дело: разбудит старуху, и обе поднимут скандал на весь дом.

Девочка говорит со словами в голосе:

— Дядя Володя, мне страшно. Кто-то ходит по передней, и дверь на лестницу открыта. Дядя Володя, почему вы не отвечаете, я же слышу, что вы в кабинете, и...

Дверь на лестницу! Вот в чем дело! Как он неосторожен. За дверью слышен печальный вздох.

— Дядя Володя, я же не хочу вам мешать, если вы работаете, мне просто страшно... И так плохо пахнет чем-то...

Пайонк шипит от злости. Он вкладывает ключ в замок и очень быстро открывает дверь. На мгновение мелькает испуганное личико и длинная ночная рубашка.

Детское горло так хрупко. Никакой возни... Валяйся тут, падаль.

ПАУКИ.

Он снова пробирается в «спальню». Вокруг всей комнаты, под кроватью, под окном с кисейными занавесками, под столом со свешивающейся скатертью, под диваном поползла черная змейка, пахнущая газOLIном.

— Испано-Сюиза... Испано-Сюиза... Теперь — главное.

Из маленькой коробочки от монпансье Пайонк достает несколько мертвых пауков. Больших, черных, жирных пауков.

Он разбрасывает их по одеялу, по полу, на ночном столике, на подушке.
— Теперь ты вспомнишь «Черного паука», — злобно шепчет он.

Может проснуться служанка не вовремя... Он крадется на кухню. В руке его блестит синяя узкая сталь стилета. Через пять минут возвращается, и теперь стилет не синий, а красный.

Он проснется от жары, дыма. Кинется к двери. Дверь закрыта. А дверь крепкая — одному не выломить: дом старый, добротный, купеческий.

Кинется к другой. Заперта. Окно на пятом этаже... А если он будет звать на помощь в окно?..

Не годится! Надо связать. Так. Теперь попробуй двинуться или крикнуть, ты, комиссар Афанасьев!

Огонь в комнате будет замечен не сразу. Никто не догадается, что в комнате кто-то есть, потому что Афанасьев не отзовется на стук.

Девчонку и старуху запереть в кабинете, чтобы трупы не возбудили подозрений и не заставили взломать дверь раньше времени. Никому не придет иначе в голову ее взломать до прибытия пожарной части.

— Испано-Соиза... 180 сил...

Надо взять себя в руки и не поддаваться болезни.

Завтра на самолете в Нижний, оттуда окружным путем в Минск. А болеть можно в Польше, и с большим комфортом.

В миссии все готово, документы, билет... В крайнем случае, если будет очень плохо, дадут сопровождающего или сиделку.

— Лежи, лежи, Афанасьев, помни Жермену Пайонк!

СЛИШКОМ РАННЯЯ ЗАРЯ.

Через десять минут к швейцарихе позвонили.

— Выпустите меня, я зря прождал товарища Афанасьева. Служанка только сейчас вспомнила, что он, не дожидаясь меня, поехал в больницу.

Голос у господина сердитый, лицо недовольное. Конечно, неприятно! Будят ночью, а потом заставляют ждать.

Швейцариха сочувственно покачивает головой и выпускает посетителя. Она жмурится спросонок и не замечает, что верхние окна дома, что напротив, занимаются нежным, розовым светом — как будто раньше срока проснулась розовая июньская заря.

ПОТЕРПИТЕ, ДЯДЯ ВОЛОДЯ!

— Дядя Володя ... милый ... Потерпите!.. Моя дверь тоже закрыта. И Настя здесь... Но она, кажется, умерла... Господи, господи.

Маленькая девочка, с посиневшим горлышком, цепляется тонкими пальчиками за дверь, за которой стонет привязанный к кровати Афанасьев. Она видит его в замочную скважину. Комната полна дымом и он пробирается едкими струйками сквозь кабинетную дверь.

Афанасьев не может кричать, рот его крепко стянут, но он глухо стонет, разрывая на части сердце девочки. Пламя лижет его волосы... Одеяло тлеет... Черные пауки шевелятся, оживают и ползут на лицо... Это не пауки, это синеглазая Жермена...

Уже на дворе заметили пожар. Топочут по лестнице. Но Афанасьев уже задыхается. Он сгорит раньше, чем выломают дверь.

Взгляд девочки падает на ключ, торчавший в шкафу... Скорее, скорее... Может быть, подойдет...

ГЛАВА XV

Утро. Центральный аэродром. В 7 час. 05 мин. отправляется на Казань пассажирский «Юнкерс».

Летчик с сомнением смотрит на небо. Похоже на то, что полеты не состоятся. Ждут сообщения с метеорологической станции.

Молодая, изящная женщина с тоской смотрит на грозовые тучи, тяжело покаявшиеся на горизонте.

Ее пугает их зловещая неподвижность. Она явно волнуется.

— Неужели мы не полетим? — огорченно спрашивает она по-немецки летчика.

— Увы, фрейлейн, кажется, нет.

— Если бы вы знали, сколько я потеряю, если не вылечу сегодня!

Летчик вопросительно поднимает брови.

— Коммерческое дело?

— О нет, что вы! Так, домашние обстоятельства. Отправляю мою больную матушку в Казань, — нервно отвечает девушка.

— А что там за аэроплан? — через минуту спрашивает она.

— О! Это самолет комиссара Афанасьева.

— Как? Ведь, говорят, он сгорел!

— Да, но мастерские ВВА к его юбилею сделали ему подарок: в ударном порядке восстановили погибший аппарат. Этот Афанасьев очень популярен.

— Да? Я слышала, что его самолет погиб безнадежно.

Летчик улыбается.

— Разве фрейлейн не знает, что русская молодежь очень экспансивна. В ремонте самолета принимали участие все ученики Академии, все рабочие, все конструкторы. Работа не прекращалась ни на одну минуту, ни днем, ни ночью, и, кроме того, месяц не такой уж маленький срок.

— Так почему же этот аэроплан не в ангаре? Простите, сударь, что я отвлекаю вас праздными вопросами... Но все, что касается Афанасьева, меня очень интересует. Это замечательный, достойный человек.

— О, да! Прекрасный летчик. Немного не осторожный, правда. Он собирается сейчас лететь в Нижний по делам службы, а небо, как вы видите, не очень приветливо.

— Афанасьев? Сейчас? Не может быть!

Голос ее был полон изумления, почти испуга.

— Почему не может быть, фрейлейн? Он еще три дня тому назад назначил на сегодня старт. Вероятно, у него в Нижнем важные дела. Но, конечно, это очень неосторожно с его стороны...

— Не может быть! Он... — прервала его девушка и запнулась. — Впрочем, вам лучше знать.

— Вы мне почему-то не верите, фрейлейн. Взгляните-ка! Вот, идет Афанасьев. Как всегда, точен.

Девушка быстро обернулась.

К самолету быстрыми шагами шел комиссар Афанасьев, такой же решительный и бодрый, как всегда, но с забинтованной головой и перевязанными руками.

— Боже мой! — едва слышно прошептала девушка.

Она следила за ним, нахмутив брови и прикусив губу. Ей пришла в голову какая-то мысль.

— Это меня очень устраивает, — сразу повеселев, сказала она. — Я пойду посоветоваться с моей матушкой. Может быть, Афанасьев не откажется взять ее с собой.

Она поглядели на небо.

— Вы говорите, можно ожидать плохой погоды?

— Увы, фрейлейн!..

— И вы не полетите сегодня?

— Думаю, что нет.

— А когда отправляется следующий аэроплан?

— Не раньше, чем дня через три.

— Хорошо, благодарю вас, сударь. До свиданья.

Афанасьев чувствовал себя очень плохо. Руки болели, голова была так обожжена, что нельзя было натянуть шлем. Но железная воля помогла ему справиться с недомоганием. Ему предложили взять с собой летчика или,

по крайней мере, механика — но он упрямо отказался. Проглотив полпуда хины, чтобы предупредить лихорадку, и поручив Шварцу принять меры к поимке шпиона, он отправился на аэродром.

Прохладное утро освежило его. Увиден тучи на горизонте, он презрительно сплюнул: игрушечки! Раньше, чем подует ветер, он будет уже в Нижнем.

Вспомнив о происшествии этой ночи, Афанасьев усмехнулся: опять этот дурачок попал впросак!

Хорош шпион, который вместо нужных для вражеской страны ценных рукописей по моторостроению крадет протоколы всероссийских съездов и заседаний ОДВФ, а вместо чертежей «Афанасьев Н-1» — планы Московского аэродрома, которых у наших врагов до черта.

В его памяти уже стерлись страшные минуты, когда он лежал в кольце пламени, зажмурив готовые лопнуть глаза, теряя сознание от жары и зловонного дыма.

Милая, маленькая девочка, — она очень любит шоколадные бомбы — мужественно кинулась сквозь огненную завесу, обжигая руки, распахнула окно и развязала его. Сейчас она находится под наблюдением лучших врачей Москвы и с нетерпением ждет его возвращения.

МАМА... МАМА...

Пора лететь. Афанасьев укутал голову оренбургским платком. Смешно, конечно, но это уступка необходимости...

— Товарищ Афанасьев, — раздался за его спиной взволнованный женский голос.

Он обернулся.

Бледная, темноглазая девушка умоляюще смотрела на него.

— Чем могу служить?

— Товарищ Афанасьев, прошу вас, очень, очень, возьмите мою больную мать с собою в Нижний. Ей нужно делать операцию у профессора Х... Если она сегодня ее не сделает — она умрет.

— Гражданка, для этого есть пассажирский «Юнкерс».

Девушка вскрикнула:

— Но они не летят сегодня! Умоляю вас, умоляю! Моя мать не будет вам мешать. Она сейчас чувствует себя совсем хорошо и будет сидеть спокойно.

— Я не могу, гражданка.

— Боже мой, боже!..

Девушка в отчаянии заломила руки и заплакала.

— Мама... мама...

Афанасьева тронуло ее горе.

— Я уверяю вас, гражданка, что это невозможно. Я не сумею подать помощи вашей больной, если ей будет дурно. Она может выпасть из самолета, и на мне будет лежать ответственность за ее жизнь. Нет, нет... Может быть, еще летит кто-нибудь, кроме этого благоразумного немца.

Девушка горько рыдала.

Твердость Афанасьева пошатнулась под натиском этого неподдельного отчаяния.



— Помните, я лечу сегодня один, без механика. Я не совсем здоров, да и погода, по правде, неважная. Вы сильно рискуете, поручая мне свою мать.

Девушка вскинула на него заплаканные глаза.

— Поймите же, что если я даже рискую, то все-таки есть надежда.

— Вы такой опытный летчик! А если она не будет сегодня в Нижнем — она обязательно умрет. Умрет! Понимаете ли вы это? Посадите ее и меня... Я внесу все мои сбережения в пользу «Общества Друзей Воздушного Флота». Только помогите мне... Если у вас есть мать... О, мама, мамочка...

Твердость Афанасьева окончательно рухнула.

— Ну, хорошо, гражданка, — сурово сказал он. — Тащите сюда вашу мать и

ваши документы. Только внушите больной, что она должна вести себя хорошо.

— О, благодарю. Я никогда этого не забуду...

— Идите, идите... мне некогда.

АМАЛИЯ ФЕННЕР.

Через четверть часа в кабину взгромоздили тихую старушку в лисьей шубе, до носа укутанную в байковый платок, в пуховых варежках и с синими очками на носу.

Страшно было на нее смотреть, до такой степени она была укутана.

Она трясла головой и дрожала так, что дребезжал графин на стене кабины.

Дочь положила ей кожаный чемоданчик на колени, сунула под бок подушку и нежно поцеловала руку. Старушка, по документам Амалия Федоровна Феннер, вдова оберлерера Петербургской Анненской школы, подняла на лоб синие очки свои и вытерла слезы на глазах.

— Прощай, малютка, — сказала она по-немецки глухим и томным голосом.

— О, мамочка, не говорите так... Я завтра же буду в Нижнем.

— Прощай, дитя мое!..

Афанасьев нетерпеливо повернулся к ним.

— Скоро вы? Пора лететь. Отойдите в сторону, гражданка.

Грохот. Рев. Ветер. И вот уже серое, пасмурное небо окружает «Афанасьева Н-1».

НА ВЫСОТЕ 3000 МЕТРОВ.

Афанасьев пристально вглядывался в потемневшее на востоке небо, в которое вонзалась, как стриж, его послушная машина. Он так был занят своими наблюдениями, что не слышал рядом с собой никакого движения. Когда, потревоженный каким-то случайным шорохом, он обернулся — перед ним стояла Амалия Феннер с револьвером в руке, дуло которого было приставлено к самому его виску. Ее очки поблескивали. Платок сполз с головы, обнажив голый, выбитый череп. Свободной рукой старуха стянула с себя очки.

Перед Афанасьевым стоял — Иосиф Пайонк!

— Не стреляйте! Вы сумасшедший! — крикнул Афанасьев голосом, заг-

лушившим шум мотора. — Мы оба погибнем!..

Пайонк насмешливо улыбнулся. Теперь он ничего не боялся. Страх, доведенный до последнего предела, уничтожил в его сердце все, что делает человека робким, и ничто уже не могло его более испугать. Ничто, кроме смерти. Но Афанасьев сейчас в его руках и должен ему подчиниться. А угрозы? — Ха!..



Никакая храбрость не может сравниться этим предельным страхом. Афанасьев усмехнулся и спокойно поднял крылатый аппарат еще выше. Ничто, кроме стрелки альтиметра, не указывало на скорость подъема. Афанасьев чувствовал на своем виске горячее, лихорадочное дыхание шпиона.

Пайонк изнемогал от жара, его глаза слезились, но он твердо продолжал держать свой револьвер у лба Афанасьева, и рука у него не дрожала.

Здесь, в воздухе, он уже не боялся, что его арестуют и расстреляют.

Здесь они были один на один, и Афанасьев должен был подчиняться силе.

Пайонк кивнул на запад и, наклонившись к уху комиссара, прокричал:

— В Польшу — или я буду стрелять!

Да, смерть сидела теперь рядом с Афанасьевым, но комиссар и старуха Смерть были давнишними друзьями. Они не раз летали вместе.

Ничего не боялся комиссар, но его тень заплакала бы от стыда, если бы этому подлому шпиону и убийце удалось заставить его снизиться.

Он снял свою руку с руля глубины и поднял ее вверх. Пайонк побледнел.

— Доставьте меня невредимым в Польшу, — снова прокричал он. — Иначе я буду стрелять! Слышите? Не проделывайте никаких штук.

Они были теперь на высоте 3.000 метров.

— Слышите? Никаких штук! — повторил Пайонк.

Загорелое суровое лицо Афанасьева было бесстрастно, губы крепко сжаты, но в стальных глазах светилось столько беспощадной ненависти и грозной воли, что смертельный холод проник в самые кости Пайонка.

Как, почему, — этого Пайонк не знал, — но он знал наверное, что хотя жизнь этого сильного человека была в его руках (стоило ему только нажать курок), — но самого его спасти уже ничто не могло.

— Не делайте того, что вы сделаете! — завизжал он, теряя голову. — Не смейте этого де...

Он не окончил.

Афанасьев нажал какую-то кнопку, дно самолета раскрылось, как трап, и сиденье пилота выбросилось в пространство, увлекая за собой Афанасьева и оторвавшийся от фюзеляжа парашют. Умная птица не подвела своего хозяина. Парашют развернулся и медленно поплыл на землю. Еще несколько секунд, и мимо него пронесся брошенный на произвол судьбы самолет, и на мгновение Афанасьев увидел неуклюжую фигуру в старушечьем салопе, мертвенно-бледное лицо и рыбы глаза Пайонка.

Отданный во власть аппарату, который, крутясь, нес его вниз, Пайонк в смертельном страхе схватился за руль глубины и взял его на себя.

Головокружительная стремительность спуска была на мгновение приостановлена. А затем...

ГИБЕЛЬ

Следившая внизу сиделка Польской миссии и агент польской контрразведки увидела, как самолет дернулся вверх и сделал петлю, а за ней другую, еще, еще, при неумолкающем реве мотора. Пайонк судорожно вцепился в руль глубины. Теперь аппарат должен был делать петли до тех пор, пока не сломаются его крылья.

Языки пламени показались из корпуса «Афанасьева Н-1».

Они ползли из машинного отделения к крыльям.

Еще три петли сделал самолет, и пламя охватило его стабилизатор.

Аппарат понесся вниз, как пылающий факел.



«Черный Паук» благополучно донес до земли Афанасьева.

Он не мог сразу сообразить, где он опустился, это несомненно были окрестности Москвы. Автоматически отстегнувшийся парашют надулся ветром, как щеки херувима, и его протащило по земле несколько сажений прямо в молодой, веселый, щебечущий лесок.

Из туч испуганно выглянуло солнце.

Над юными, прозрачными верхушками берез бился в истерике пленный парашют, запутавшийся веревками в их ветках. Солнце снова скрылось, и свинцовая тишина опустилась на лесок.

— Пускай этот «Черный Паук» хоть немного исправит то зло, которое нанес нам другой «Черный Паук».

Афанасьев вспомнил эту свою фразу, сказанную им Козлову. В это время тревожные гудки аэродромного автомобиля заставили его пойти по направлению к шоссе, желтевшему издали. Запах горящего бензина и масла тянулся откуда-то справа. За деревьями берегового леска встало, как флаг, высокое ровное пламя.

Это догорал «Афанасьев Н-1».





Приложения

Т. МАЧТЕТ. ИЗ ДНЕВНИКА

11 июня [1921 г.]. Москва.

Только что вернулся из Кафе, где слушал стихи Натальи Бенар. За последнее время из целого ряда поэтесс наших заметно выдвинулась она, молодая, хрупкая, белокурая девушка, веселая, немного вертлявая, маленькая, нежная, милая, и полонила нас своим талантом.

— Я давно не слыхал таких хороших стихов, — сказал о ней сегодня Федоров.

А какой-то провинциал, взойдя на эстраду, вдруг заявил:

— Я вчера здесь слушал Брюсова, а сегодня Бенар, и нахожу, что Брюсов должен учиться у Бенар.

Наша поэтесса скромно восседала на эстраде, окруженная Буданцевым, Ковалевским и своим докладчиком Т. Левитом, и, видимо, осталась довольна своим успехом. <...>

— Ее стихи лучше стихов Кутушевой, — сказал я Минаеву по дороге домой <...>.

Помню, ей повезло еще в Особняке на вечере «Зеленой мастерской», когда читала стихи она, и Гальперин назвал ее во всеуслышание большой поэтессой. Я тогда впервые к ней присмотрелся и полюбил стихи Бенар. Хрупкая, маленькая, богемно типичная, в чем душа только держится, а стихи так и льются, и кажется, что она вся переполнена чем-то большим, хорошим и веселым <...>.

Хотелось угадать, что особенно останется, запечатлется о ней в памяти потомства нашего. Эта ли хрупкость, мягкость, эластичность, простота в обращении, милая улыбка или только стихи, такие нежные и мужские, как стихи Елены Гуро, по выражению Левита. <...>

Бенар, Кутушева, Манухина, Бутягина!

Пройдут годы, и они, их имена войдут в историю, и тысячи их современников и <нрзб> исследователей нашего времени, быть может, позавидуют мне, неожиданно для себя самого очутившегося в самом центре исторических событий, дней и людей.

В. БРЮСОВ. СРЕДИ СТИХОВ

(Отрывок)

Как будто в иную стихию попадаем мы, берясь за книжку Наталии Бэнар; но это — только первое впечатление. Если у символистов и акмеистов — трафареты поэзии прошлого века, перешедшие по наследию и к пролетарским поэтам, то у Н. Бэнар — тоже трафареты, только более поздние, из нашего нео-футуризма. Господствующий размер — «дольники», т. е. гейновский *Knittelvers*, излюбленный футуристами, не дающий у Н. Бэнар ничего нового по ритмам; в традиционных размерах — подражание по ритмам Борису Пастернаку, доходящее до передразнивания (стихотв. «Когда тобой глаза полны, — Чечоткой сердце о земь»). Рифмы — непременно неточные, разработанные футуристами же, но или обличающие странную глухоту автора к созвучиям («тьму — муть», «земли — лип», «чеканю — одуванчик», «морю — кормой», «плачь же — мальчик»), или насильственные («исхлестав их — эпитафьей», «любви занозой выдрав — эпитаграф», «света бы — нетопырь»), или тождесловные («изжога — жег», «обрыв — обрывки»). Метафоры — наимодернистичнейшие, но явно надуманные («месяц, взведенный курком», «недели вышли навстречу похоронными клячами», не то ночь, не то луна «выплескивалась до дна», «небо истаяло дочерна»), а рядом — срывы в прозаизмы («но близость неизбежной гибели — Душе беспечной не страшна», «закаты текут за закатами», «мне сердце на память приносит») или в условности («виски Хроноса»). Конечно, также — изломанный синтаксис, но часто, неизвестно зачем, попытки звукописи, но наивные («грозой грозит») и т. д. А как смысл всего

Я губы отдала кому-то...

— и т. под. К чему требовалась вся эта футуристичная бутафория, остается не ясным.

Но стихи Н. Бэнар все же — серьезные попытки что-то сделать, что-то выразить; они связаны с общей работой современной поэзии над новыми приемами изобразительности.

Б. ГУСМАН. НАТАЛИЯ БЕНАР

Поэзия Наталии Бенар — поэзия девичества, уже дозревающего до женственности, уже провожающего свою юность, но все еще нежного в своих настроениях и желаниях, все еще неискушенного в своих ожиданиях и томлениях.

Торжественная жизнь проходит за околицей,
А рядом — тиши взволнованная муть.
А рядом — писк мышиный не стихает,
И мамин голос нежный по утру.

«Маме» Наталия Бенар посвящает первое стихотворение своей маленькой книжонки «Корабль отплывающий». Она, часто по девически, говорит ей:

Пока со мной ты, милая, тепло еще...

В своей девической неискушенности она молит жизнь «покачать» ее «первой любовью».

Запелись, запенились, забурлили
Стихи, стекающие через край. —
Жизнь, распылись, развейся, или
Любовью первой карай.

А когда эта любовь приходит, то ей, конечно, опять таки, чисто по девически, кажется, что она «на жизнь и на смерть»

И ты со мной, полюбленный
И жизнь и на смерть.
Пускай века на убыли
Не разлучить им нас ведь.

Но уже уходит юность, надвигается зрелая женственность и Наталия бенар это чувствует —

Немного, совсем немного
Юности осталось нам —

И с болью ждет это «отчаянье зрелости», этот «судный день».

И ты отползаешь, оскаливаешь
Поздняя осень, куда же ты?
Развертывается Апокалипсис
Заката над вечером каждым.

Глаза налились и прозрели,
Стынет грудь, поспевшая к жатве,
Судный день! Отчаянье зрелости,
Ужас кожи, морщинами сжатой.

И как характерны для этих настроений эти расплывающиеся ассонансами окончания стихов, делающихся благодаря этому какими-то девически неоформленными, неустоявшимися, зыбкими: «вестники — песенкой», «губы ли — погублен», «печальный — кричали нам», и т. д. и т. д. через все стихи.

Правда, перед Наталией Бенар наметилось уже «дальнее плавание» и ее «Корабль отплывающий» «давно повернут к берегу кормой».

Прямо в мир огромный и темный
И по новому жизнь пестра.
Ключьями пены хлещут в лицо мне
Стихи, революция, страсть.

Еще неизвестно, куда приведет ее это «плавание», но во всяком случае:

Не о любви мне поется теперь
Перед лицом грозы.

И блики этой грозы уже легли на последние стихи Наталии Бенар.

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в книгу тексты публикуются по первоизданиям с сохранением особенностей авторской орфографии и пунктуации. Исправлены наиболее очевидные опечатки.

На фронтисписе — портрет Н. Бенар работы Е. Кругликовой (из кн.: Кругликова Е. С. Силуэты современников: I. Поэты. М., 1921).

Заставка на с. 18 и концовка на с. 43 взяты из первоизд. сборника «Корабль отплывающий». Иллюстрации к повести «Черный паук» — из первой публикации в журн. *Самолет*.

На с. 30-31 и 33 воспроизведены листы Н. Н. Купреянова (1894-1933) из цельногравированного ксилографического изд. *Поэмы о дальнем плавании*, над кот. художник начал работать в 1921 г. В домашнем архиве Н. Н. Купреянова (собрание его внука Н. Я. Купреянова, Москва) сохранились карандашные наброски макета книги — титульный лист, фронтиспис и три варианта первого листа «Пролога» поэмы. Воспроизводимые здесь оттиски (два варианта первого листа «Пролога» и еще один лист, — по всей видимости, дальше работа над этим изданием не продвинулась) хранятся в Госуд. Третьяковской галерее и в собрании Л. И. Черткова (Москва).

Издательство приносит сердечную благодарность Н. Я. Купреянову за помощь в работе над книгой; нам также помогал безвременно скончавшийся не так давно, к нашему глубокому прискорбию, В. В. Нехотин.

КОРАБЛЬ ОТПЛЫВАЮЩИЙ

Бенар Н. Корабль отплывающий. М.: Альциона, 1922.

Маме

С. 18. *Скрипит январь. Метель...* — в тексте: «Скрипить январь. Мятель...».

С. 19. *Ушедшем в поход Мальбруке* — Цит. популярная песенка «Мальбрук в поход поехал», восходящая к франц. солдатской песенке о герцоге Мальборо (Мабруке), сочиненной в 1709 г.

Навстречу мартовской мечте ль...

С. 19. *Фарфоровыми лопухами* — В выпущенной в 1921 г. под маркой литера-

турного общества «Зеленая мастерская» кн. Я. Полонского *Вино волос* анонсировалась оставшаяся неизданной кн. Бенар *Фарфоровые лопухи*.

Не одна над набережной катилась...

С. 21. ...*шершавым* — в тексте: «шаршавым».

Смертного просишь знака ли...

С. 22. *Р. П.* — Адресат посвящения — подруга Бенар Раля (Рахиль Яковлевна) Потольская (? – ?), актриса, в 1923-1941 гг. жена эстрадного артиста, певца и поэта А. Н. Вертинского (в замуж. Ирина/Ирена Вертидис).

Снова те же слова чеканю...

С. 25. *Ральке* — Посвящено Р. А. Потольской (см. выше).

А. Б.

В кн. *Литература этих лет: 1917-1923* (Иваново-Вознесенск, 1924) П. С. Коган, цитируя первую строфу этого стих. наряду со стихами других «мечтателей» от А. Ахматовой и О. Мандельштама до имажинистов и тверского поэта М. Дудорова, замечает, что в стихах рабочих поэтов с их «разбей цепи капитала» «больше новизны и поэзии <...> не только по содержанию, но и по форме» (с. 52-53).

С. 27. ...*Манон Леско* — героиня романа аббата Прево (1697-1763) *История кавалера де Грие и Манон Леско* (1731).

С. 28. ...*о земь* — в тексте «о зем».

Эта осень

С. 38. ...*персеидам* — Персеиды — метеорный поток, наблюдаемый в июле-августе.

С. 42. «Звездой кровавой ты текла» — Эпиграф взят из стих. А. Блока «Твое лицо бледней, чем было...» (1906).

С. 42. ...Наталья / Звезда из Никомидии — речь идет о христианской мученице IV в. Наталии Никомидийской, умершей от душевных страданий.

СТИХОТВОРЕНИЯ ИЗ КОЛЛЕКТИВНЫХ СБОРНИКОВ

Когда ж опять пески и камни...

СОПО: Первый сборник стихов. РСФСР, четвертый год первого века [М., 1921].

С. 45. «О, джан, о, джан, мэн бульдурам!» — «О, моя любовь, я не могу найти тебя!» (азерб.).

Из поэмы: «Эта осень»

Альманах Литературного особняка. № 1. М., январь 1922.

Лишь одно из груди недомолвок...

Московский Парнас. Сб. второй. М., 1922.

С. 47. ...Сольвейг — героиня пьесы норвежского писателя Г. Ибсена (1828-1906) *Пер Гюнт* (премьера 1876), воплощение вечной любви и верности.

Жжет шкурами воловьими...

Это и следующие два стих. публ. по: Эпоха: Л. Андреев. — Юлиан Анисимов. — Наталья Бенар. — Валерий Брюсов. — Борис Пастернак. — Георгий Чулков. — Мариэтта Шагинян. — А. Хромов. М., 1923.

Подруга

С. 49. *Рале Потольской... Теперь ты вышла замуж* — Имеется в виду брак Р. А. Потольской (см. коммент. к с. 22) и А. Н. Вертинского.

С. 49. *Когда, совсем по Тютчеву... Гебе... громокипящий кубок* — отсылка к стих. Ф. Тютчева «Весенняя гроза» (1828): «Ты скажешь, ветреная Геба / Кормя Зевесова орла / Громокипящий кубок с неба / Смеясь, на землю пролила!».

ЧЕРНЫЙ ПАУК

Самолет (Москва). 1925. №№ 8-12.

С. 129. *...оберлерера* — Оберлерер — старший учитель (нем.).

ПРИЛОЖЕНИЯ

Т. Мачтет. Из дневника

«Так жили поэты»: (Шершеневич и мир литературной Москвы в дневнике Тараса Мачтета) // Дроздов В. А. *Dum spiro spero*. О Вадиме Шершеневиче, и не только: Статьи. Разыскания. Публикации. М., 2014. С. 729.

В. Брюсов. Среди стихов

Брюсов В. Среди стихов // Печать и революция. 1922. Кн. 2. С. 147-148.

Б. Гусман. Наталия Бенар

Гусман Б. Наталия Бенар // Гусман Б. 100 поэтов: Литературные портреты. Тверь, 1922. С. 27-28.

ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>С. Шаргородский. Гаменовский очерк головки Гавроша: Наталия Бенар</i>	6
Корабль отплывающий (1922)	16
<i>Стихотворения из коллективных сборников</i>	
Когда ж опять пески и камни...	45
Из поэмы: «Эта осень»	46
Лишь одно из груды недомолвок...	47
Жжет шкурами воловьими...	48
Подруга	49
Еще одно, ребром раскрытой двери...	51
Черный паук	52
<i>Приложения</i>	
Т. Мачтет. Из дневника	135
В. Брюсов. Среди стихов (отрывок)	136
Б. Гусман. Наталия Бенар	137
Комментарии	139

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т. п.